

Виктор Кротов

Навстречу своему лучу

Воспоминания и мысли



Виктор Кротов

**Навстречу своему лучу.
Воспоминания и мысли**

«Издательские решения»

Кротов В.

Навстречу своему лучу. Воспоминания и мысли / В. Кротов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-834420-6

Воспоминания охватывают период с середины двадцатого века до нашего времени. В книге много выразительных описаний реалий своего времени. Читатель встретится здесь с многими замечательными людьми, совершит путешествие по временам Советского Союза и перемен общественного строя. Молодёжь встретится с особенностями жизни, о которых ей известно не так много. И каждый найдёт в авторе собеседника, который постарается рассказать много важного о внутреннем мире человека и его возрастном развитии.

ISBN 978-5-44-834420-6

© Кротов В.
© Издательские решения

Содержание

От автора	7
Маленькое предисловие с большой благодарностью	8
Книга первая	9
Глава 1	10
Совет Антония Сурожского	10
Другие подталкивания	11
Проблемы подзаголовка	12
Инцидент с человекомобилем	13
Луч встречающий	14
На грани	14
Вычитание тела из души	16
Богатый больничный опыт	16
Соар или Соарт	17
Добро пожаловать в постсоветскую больницу N7	18
Луч направляющий	18
Горизонтальные впечатления	19
Призвание или призвания	20
Любовь приходит на выручку	21
Существуют ли мешающие обстоятельства?	22
Трубокур	23
Немного о медицине	24
Легенда о родителях	26
Луч... соскребающий	28
Чему научил меня отец	29
Соединённость с Тайной	30
Чему научила меня мама	31
Забота и свобода	33
Начало восстановления	33
К обновлённой жизни	34
Глава 2. На Клинической улице	36
Странствия детства	36
Что и зачем запоминается?	37
Ранние кадры	37
Из тетрадки по названию «Я»35	39
Топографический миф	42
Бывшая богадельня	42
Мальчику с Клинической	45
Двор без подворотен	46
Мегаполис и патриотичность	47
Окрестности детства	48
Привязанность или признательность?	50
Детский сад и его наказания	50
Игры пустынного двора	51
Родное становится незнакомым	53
Праздники по-советски	53
Что осталось	55

Тридцать пятая была первой	56
Замедленное или ускоренное	57
Соучастие в курении	58
Родственники ближние и дальние	58
Жизнь воспоминаниями	59
За покупками	60
Килограмм семечек	61
О том, чего не было	62
Дорога в школу, дорога из школы	63
Пророчество об университете	64
Родительское детство	64
Первая влюблённость	65
Блики Луча	65
Последняя встреча с домом	66
Детство золотое	67
Глава 3. Сороковая школа. Отрочество	68
Тёплый переулок	68
Подростковое время	69
Террор Саши Соловьёва	70
Мягкость и резкость	71
Одноклассники из пятого «Б» (шестого, седьмого, восьмого)	72
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Навстречу своему лучу Воспоминания и мысли

Виктор Кротов

© Виктор Кротов, 2017

ISBN 978-5-4483-4420-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Воспоминания охватывают вторую половину двадцатого века и начало двадцать первого. Каждая из пятнадцати книг посвящена особой теме, пронизана выразительными описаниями реалий своего времени, размышлениями о становлении личности и её взаимоотношений с обществом. Читатель встретится здесь с многими замечательными людьми. Среди них священник Александр Мень, художник Валерий Каптерев и его жена, поэт Людмила Окназова, врач и экстрасенс Юрий Левинсон, художник Валерий Волков и его жена, филолог и культуролог Светлана Завадовская, писатели Фазиль Искандер, Андрей Битов, Мария Романушко, барды Александр Галич, Александр Мирзаян, Виктор Луферов, Владимир Бережков, философ Григорий Померанц и его жена, поэт и писатель Зинаида Миркина, врач Николай Шастин...

Для людей старшего поколения эти мемуары станут путешествием по временам Советского Союза и далее – вплоть до нашего времени. Молодёжь встретится здесь с особенностями жизни, о которых они знают не так много. И каждый читатель найдёт в авторе собеседника, который может рассказать много важного о внутреннем мире человека и его возрастном развитии.

Маленькое предисловие с большой благодарностью

Эти мемуары стали важным этапом моей жизни. Я старался написать их интересно и честно. Получилось немаленькое повествование. Но ещё до того, как оно было доведено до необходимой кондиции, нашлись очень важные для меня люди, которые одолели его и снабдили меня большим количеством поправок, замечаний, уточнений и стилистических предложений, существенно улучшивших текст. Сначала это были те, кто имел то или иное отношение к самому повествованию. Затем усовершенствованный по их замечаниям текст проштудировали люди, мало причастные к описанному, их оказалось гораздо больше. Этот коллективный редактор был необычайно чуток и к смысловой стороне воспоминаний, и к грамматике с синтаксисом, и к сбоям интонации. Без него было бы намного больше сбоев и пробуксовок, а те, что остались, – на моей совести. Не говорю уже о чисто читательских впечатлениях, которые помогали мне ориентироваться в работоспособности текста.

Большое спасибо каждому, кто был в числе первых читателей, потому что каждый мне чем-то помог, а многие – особенно!..

Книга первая

Попытки разглядеть

Глава 1. Пролог вместо эпилога

Как я чуть не умер от инсульта, но вместо этого стал писать воспоминания.

Глава 2. На Клинической улице

Скитания с родителями по детским домам. Улица, которая есть и которой нет.

Глава 3. Сороковая школа. Отрочество

Тёплый переулочек. Разгар ученической жизни и начало педагогической.

Глава 4. Девятый «А». На пути в юность

Лишний год учёбы, которому можно было только радоваться.

Глава 5. Мехмат и философия

Обучение самому себе на фоне обучения математике.

Глава 1

Пролог вместо эпилога (2007—2008)

Эту книгу я начинал дважды. Первый раз – неторопливо примериваясь. Второй – после того, как чуть не умер. Сейчас, дорабатывая написанный до конца текст, я понимаю, что вряд ли справился бы с ним, не будь такого решительного подталкивания судьбы к этому делу... Был бы вместо мемуаров один только эпилог, да и тот не мною написанный.

Даже если бы я писал потихоньку эту книгу при обычном течении жизни, она оказалась бы совершенно другой. Потому что другой оказалась бы и моя жизнь. Ведь дело не только в книге, но и в том, как прожить время, ей посвященное.

Начало первое было всего-навсего ростком, проклюнувшимся с надеждой на то, что он выживет. Первым испытанием жизнеспособности этого ростка оказалось моё собственное выживание.

Начало второе стало отчаянным прыжком замысла в реальность. Прыжок этот оказался спасительным и для замысла, и для меня в этой новой реальности.

И мне хочется сосредоточить эту главу пока не на первых годах жизни, а на том главном, что мне видно в ней сейчас. Ведь эту главу я писал, не зная ещё, будет ли мне дано написать остальные.

Совет Антония Сурожского

Намерение писать эту книгу пришло ко мне неожиданно. Я был загружен разнообразными работами и творческими замыслами, среди которых явно не было места мемуарам: слишком много незаконченных книг. Неподходящее время, чтобы затевать что-то новое.

Мне и читать было некогда, но, когда на время домой попал толстенный том в тёмно-синей обложке: «Труды Антония, митрополита Сурожского», захотелось хотя бы заглянуть в него. Там я и встретил слова, которые почему-то воспринял как адресованные прямо мне.

«...Необходимо готовиться к смерти через суровый, но освобождающий нас процесс примирения со всеми, с самим собой, с собственной совестью, со всеми обстоятельствами, с настоящим и с прошлым, с событиями и с людьми, и даже с будущим, с самой грядущей смертью... И если мы хотим достичь этого в то короткое время, которое грядущая смерть нам оставляет, очень важно рассматривать всю нашу жизнь как восхождение – восхождение к вечности, не как смертное увядание, а как восхождение к моменту, когда мы пройдем тесными вратами смерти в вечность, не совлекшись временной жизни, но, по слову апостола Павла, облекшись в вечность (2 Кор 5:4)».

Это место из бесед о смерти, которые вёл владыка в своём Лондонском приходе, почти четверть века назад, весной 1984 года. Давно и в другой стране. Почему же это обращение показалось обращённым персонально ко мне? Какими загадочными путями размышления одного человека становятся личными размышлениями другого...

Более того, эта мысль требовала от меня каких-то практических действий. Захотелось осуществить этот призыв, или хотя бы *начать* осуществлять – наиболее естественным для себя образом: в виде книги.

Возникшее желание усиливалось давно созревшим представлением о том, что жизнь каждого человека настолько полна уникальным опытом существования, что странно не оставить о ней своего свидетельства. Об этом я говорил на своих литературных студиях, склонял к воспоминаниям многих знакомых, но каким-то изощёренным способом сам ухитрялся уклониться от серьёзной вспоминательной работы. А ведь воспоминания – это тающее население памяти, с которым надо успеть пообщаться. Спуститься по ступенькам, пока они не совсем разрушились, в прошлое, чтобы связать его с настоящим.

Память – довольно своеобразная хранилище нашего музея, архива миров, прошедших через человека. Она незаметно переделывает свои экспонаты или задвигает вглубь, если вовремя ими не заинтересоваться.

Так небольшой абзац из большого тёмно-синего тома стал для меня призывом взяться за дело, объём которого я тогда не очень себе представлял.

Позже, будучи уже погружённым в эту работу, я параллельно прочитал весь том «Трудов», от корки до корки. Это было вдохновляющее чтение, но другого такого фрагмента, как попавшийся тогда мне на глаза, не нашлось. Может, он всё-таки специально был для меня подобран?..

Другие подталкивания

Упомяну и о других – конкретных, физических сигналах. Сигналы о чём? О чём-то, что требовало внимания.

Время от времени вдруг ухудшалось самочувствие. Чуть поработаешь – голова становится тяжёлой, горячей. Иногда добавлялось головокружение, иногда резь в глазах.

Может, ерунда, пройдёт?.. А может, предупреждение? – кто знает. Возможно, времени на примирение, на осмысление (а уж тем более на осуществление замыслов) осталось куда меньше, чем надеешься.

Ещё случилась однажды внезапная слепота – после занятия верховой ездой на плацу конного клуба «Левый берег»¹. Когда ездил галопом, лошадь разрезвилась, перестала реагировать на управление – как говорят, понесла. Не упал, но возможность присутствовала. А минут двадцать спустя, стоя на остановке автобуса, я вдруг ослеп, полностью погрузился в темноту. Наверное, минуты на полторы. Стоял неподвижно и размышлял: что бы это значило?.. Как быть дальше?.. Но потом зрение вернулось, а там подошёл автобус – и надо было садиться. Что же беспокоиться о минутной слепоте, если остался зрячим!.. Я и от верховой езды после этого не отказался.

Однако всё это исподволь наводило на вопрос: как у меня с готовностью перехода в иной мир. Осмотрел ли я как следует жизнь в мире этом? Всё ли сделал необходимое? Обо всём ли важном подумал?..

Впрочем, смерть мне не грозит. Довольно экстравагантная формулировка, но это так. Каждому предстоит умереть, но *грозит* смерть – не каждому. Если готов встретить её, то и она тебя – встречает. Готовность умереть совершенно не исключает готовности жить. Можно сказать, что это две стороны балансира на канате человеческого существования. Так что думать о смерти – не смертельно. Напротив, это жизненная необходимость.

¹ Конюшня на окраине Химок с прокатом лошадей и занятиями верховой ездой.

Проблемы подзаголовка

Первоначально у этой книги был подзаголовок «Смертная книга». Одно время это было даже названием – именно потому, что импульс был задан словами Антония Сурожского о памятовании смерти. Но потом мне стало понятно, что читатель может воспринять это довольно специфично, принять за какой-нибудь ужастик. Хотя сам я никаких ужасов не подразумевал.

Умирать я не спешу. Эта книга о жизни.

Во-первых, о прожитом и пережитом. О том, что было, прошло, но и осталось. Такой жанр называют воспоминаниями или, более солидно, – мемуарами. Но в этот жанр я не помещусь. Ведь дело не просто в том, чтобы вспомнить и зафиксировать. Хочется разглядеть то, чего не замечал, понять то, чего порою не понимал, осмыслить тот узор, который сплетён судьбой при моём посильном участии.

Во-вторых, хочется рассказать об уверенности в том, что смерть не завершает жизнь навсегда, а ведёт тебя к другой жизни. Так что опять получается, что книга о жизни. Хотя и о смерти.

Хочется засвидетельствовать то, что было, и всмотреться в незримые связи земного мира с тем, что будет. С тем, что есть всегда.

Позже, когда я уже всюду ушёл в написание книги, возник другой подзаголовок, более увлекательный, по образцу старинной беллетристики. Он получился большим и самозаключенным. В нём говорилось о том, что это воспоминания...

...философа, незаметно превратившегося в сказочника...

...программиста, введившего информацию с листа Мёбиуса²...

...переводчика технической литературы гуманитарного характера...

...математика, который переквалифицировался в писателя и журналиста...

...книгоиздателя, не получившего от десятков изданий никакого дохода...

...православного, семь лет работавшего с протестантами...

...педагога, предпочитавшего учиться...

Всё здесь вроде бы верно, но самого главного почему-то не оказалось. Не так-то просто его – самое главное – уловить. Сейчас, когда книга уже написана и я вернулся дорабатывать первые главы, могу заодно и подумать, почему это не получилось.

В каждом человеке, кроме того, что мы называем метафорически душой, а рационально – сознанием, таится ещё некое неуловимое, но принципиально важное начало. Древнеиндийская мудрость называла нечто такое *атманом*³. Я бы назвал его *светящей сущностью*, но это лишь попытки обозначить необозначаемое.

Если, помня об этом, перечитать беллетристический подзаголовок, то станет видно, что ни один из его элементов не относится к этой светящей сущности. Но подзаголовок убрать нетрудно. Вот удастся ли мне коснуться этого таинственного центра личности человека во всей остальной книге?.. Не знаю. Могу лишь сказать, что это то, ради чего стоит стараться.

² Лист Мёбиуса, или кольцо Мёбиуса: пример односторонней поверхности. Его легко получить в наглядном виде, склеив ленту в кольцо, предварительно повернув один из её концов на 180°.

³ «Атман» на санскрите означает «душа, дыхание, дух, самость». Это понятие о субъективном, индивидуальном абсолютном начале в человеке.

Инцидент с человекобилем

Не сразу стало понятно – о чём же конкретно вспоминать, о чём конкретно размышлять. Хотелось выловить хотя бы какие-то давние эпизоды жизни, пока они не забылись. Любопытно, что одним из первых пришёл на ум случай, который *врезался* в память в буквальном смысле слова. К тому же он был связан с размышлениями...

Шёл я однажды домой из школы, было мне лет двенадцать. Шёл, о чём-то задумавшись, как вдруг – ошеломляющий удар в лоб! Немножко очухавшись, я обнаружил перед собой... обычный почтовый ящик. Он висел на одном из столбов нашей дворовой ограды. Столкновение объяснялось глубокой задумчивостью и примерным соответствием высоты ящика размышляющему лбу.

Конечно, дело ещё и в человечках!.. Я же не просто шёл, а был человекобилем (в своём воображении), которым управляли два водителя: правый и левый. Ну, такие, знаете: один – это кисть правой руки, второй – кисть левой. Указательный и средний палец служат им ногами, мои карманы – это их кабины... Эти водители без конца спорят, куда вести человекомашину. А иногда и вовсе забывают об управлении. Тут-то и произошло столкновение с почтовым ящиком.

В человечков я играл ещё с детского сада. Во время «тихого часа», когда все лежали, но спать никому не хотелось, я накрывался простынкой с головой, и тут мои два водителя жили по-своему – прыгали, бегали, устраивали себе пещерки под подушкой... В общем, радовались жизни.

А тут надо же – подвели. Недотёпы!.. Могли быть и повнимательнее.

Удар мне запомнился. Игра в человекобилей запомнилась. Не запомнилось, о чём я думал в то время, когда подходил к почтовому ящику.

Так археологи находят в культурном слое лишь следы прошлой жизни, по которым стараются восстановить её картину.

Наверное, в этом деле – в археологии воспоминаний – есть что-то важное, необходимое для понимания земной жизни, её траектории.

Что связывает разные возрасты человека воедино? И существует ли это «едино»? И каким оно будет дальше?

Наверное, идя по возрастным этапам, человек собирает свой жизненный узор, который можно назвать личностью. Собирает его из своих персональных особенностей, они есть у каждого, но до поры до времени это всего лишь индивидуальность – особая, не совпадающая с другими индивидуальностями, но личность это нечто иное. Именно личность, соединяющая особенности человека в нечто цельное, сшивает воедино все прожитые возраста.

А вот что ждёт её дальше?.. Об этом судить труднее, а в подробностях – и совсем уж невозможно. Но меня не оставляет ощущение, что можно понять что-то главное, если свести всё наиболее важное из происходившего и происходящего.

Так и мои водители человекобиля остались в прошлом и вместе с тем влились в меня-сегодняшнего. Они о чём-то свидетельствуют оттуда, из того давнего времени, и очень хочется понять: о чём?..

Луч встречающий

Когда-то давно, когда такие книги ходили только в самиздате, я читал «Жизнь после жизни» Раймонда Моуди: врача, который много общался с теми, кто перенёс клиническую смерть. Он обнаружил, что многие воспоминания о пережитом в это время очень похожи. Самым известным из таких переживаний стало ощущение движения через некий туннель – к Свету. Вернувшись к жизни, люди изменяли своё поведение – на более глубинное, что ли.

Может быть, главное здесь – не сам туннель, а скорее луч, протянутый навстречу человеку. Ведь луч – это и есть свет, это как бы рука света. Или, точнее, – Света. Вот этот *Луч встречающий* меня интересует больше всего. Он, наверное, не ярок, чтобы не ослепить душу, но его света достаточно, чтобы душа, вернувшись в земную жизнь, не могла его забыть.

Хочется представить себе, с чем я сам окажусь в этом туннеле, на этом пути к Лучу встречающему. С чем уйду из земной жизни?

Чтобы обо всём этом подумать, нужно многое вспомнить – если не подряд, то хотя бы самое существенное. Не дожидаясь, пока, как пишут в романах «вся жизнь пронесётся перед внутренним взором в последние мгновения». Может, это вообще чисто беллетристическая выдумка. Но даже если пронесётся, понять уже ничего не успеешь.

Если хорошенько всмотреться в своё прошлое и настоящее, можно обнаружить, что нечто, названное здесь Лучом встречающим, присутствует изначально, начиная с самого нашего прихода в земной мир. И двигаться навстречу ему не является какой-то особой доблестью. Это проще и естественнее, чем уклоняться от него, от себя самого, пускать жизнь на самотёк, в сторону от направляющих подсказок. Но и зигзагов, бросков в стороны, бывает предостаточно – по крайней мере, у меня это так. Есть над чем поразмыслить.

Сейчас, когда прошли годы после тех событий, с которыми было связаны истоки этой книги, у меня достаточно оснований считать происходившее знаками, подталкиваниями, намёками, которые я тогда воспринимал далеко не так отчётливо, как понимаю их сейчас, оглядываясь. И то, что произошло дальше, наполняется смыслом, который был мне тогда недоступен.

На грани

Озабоченный всеми своими напряжениями, скопившимися к концу декабря 2007 года, я решил начать эту книгу мемуаров. Работал с ней допоздна, потом лёг спать. А ночью...

Голова ночью совсем разболелась. И резь в глазах – от снов, что ли? Надо, думаю, таблетку принять от головной боли.

Спросонок меня слегка пошатывало. Ну, это бывает иногда, ничего страшного. Опёрся на стол, ухватился за ручку двери, вроде всё сносно. А потом, в прихожей, стенки повели себя как-то неправильно: одна туда качнулась, другая сюда... Кренятся, перемещаются. Выключатель вовсе исчез, не могу нащупать. «Ладно, – думаю, – не добратья мне до таблетки, не судьба. Пойду снова лягу». У нас в проёме двери в комнату укреплен турник, дети, когда были маленькими, на нём подтягивались. Ухватился я за него, но как дальше идти – не очень понятно. Уже и пол качается, хочет стенкой стать.

Жена моя, Машенька⁴... (Я буду называть её так, как и зову в реальности. Другие варианты были бы для меня искусственными.)

⁴ Моя супруга, Мария Романушко.

...Машенька тут же проснулась и спрашивает:

– Что с тобой?

– Не знаю, – отвечаю я честно, а сам уже спокоен полностью – как в Крыму, когда я почувствовал, что тону, и вдруг увидел её на пирсе рядом.

Она вскочила, помогла мне дойти до тахты, лечь, спрашивает что-то о самочувствии.

– Да фсё ршенно фпрядке, – говорю.

Впрочем, язык заплетался больше, чем получается изобразить письменно.

Машенька почему-то измеряет мне давление, потом вызвала «скорую». Зачем? Никогда мне «скорую» не вызывали...

«Скорая» приехала быстро, минут через двадцать. Сделали кардиограмму, ничего особого там не нашли. Врач расспросил нас, а потом говорит:

– Дайте иголку, пожалуйста.

– Какую? – удивляется жена, видя сверкание шприцев и прочих медицинских аксессуаров.

– Обычную. Швейную.

Этой иглой он стал колоть меня в ноги и в руки.

– Больно? – с интересом осведомился он.

– Ещё бы! Иголкой! – возмутился я удивлённо.

– А где больнее: справа или слева?

Я сосредоточился, как гурман на дегустации, и пробормотал:

– Вроде справа.

– Так и запишем, – сказал врач, – «Парез левой стороны». И велел медсестре что-то ввести мне в вену... Язык немного расплёлся, резь в глазах прошла.

– Четырёх мужчин ищите, – обратился врач к Машеньке. – На носилках в машину понесём.

Где же их взять, четырех мужчин, в полшестого утра?

– Да я и сам спущусь, – гордо предложил я, но врач сказал, чтобы я не рыпался.

В итоге Машенька нашла двоих. Один, Юра с нашего этажа⁵, на десять лет меня старше, который сам не так давно перенёс операцию на сердце. Другой, этажом или двумя ниже, опаздывал на работу, поэтому вроде бы и пришёл, но воспользовался заминкой и незаметно ускользнул. Вместо носилок принесли кресло на колёсах, и, с помощью врача и Машеньки, мужественный Юра спустил меня на лифте вниз, до носилок. Вдвинули меня в машину, поехали...

В таком ракурсе я Москву ещё не видал. Верхи домов, фонари – и предутреннее небо, которое внимательно вглядывалось в меня, как будто ставило свой диагноз.

Тогда я ещё не знал, что всё на грани. Что у моей земной жизни много шансов закончиться вот сейчас, или в ближайшие часы, или в ближайшие дни. Много зависело от проводочки времени, от случайных обстоятельств, от врачей, от Машеньки. А в целом – от Того, Кто решает главное.

Смерти я почему-то не боюсь. Боли боюсь, а вот смерти – нет. Но если бы знал, что жизнь на грани, забеспокоился бы. Больше за своих, чем за себя. Может быть, грань была бы от этого беспокойства ещё ближе.

⁵ Сосед с нашего этажа: Юрий Данилов.

Впрочем, я этого не знал. Всё это казалось скорее приключением, хоть и не из приятных. Первый раз на «скорой»! Да что там, первый раз ложусь в больницу, если не говорить о давнем-давнем детстве.

Вычитание тела из души

Вытаскивание меня из квартиры в машину скорой помощи вызывает у меня в памяти ещё одну картину – когда рано утром, за несколько лет до моего инсульта, нам позвонили в дверь соседи и попросили помочь. Ночью внезапно скончался Виктор⁶, живущий напротив нас, фотограф по специальности. Теперь за ним приехали, и надо было помочь. Грузное тело лежало в тупичке, куда выходили двери наших квартир. Оно было накрыто с головой одеялом. Высовывались только ноги – одна в носке, другая босая...

Но это тело никак не могло обозначать Виктора Васильевича. Мы общались мало, и всё-таки у меня было представление о нём – человеке добром и старательном, готовом помочь, если надо. Кое-что я знал о его жизни из рассказов Машеньки, которая не раз беседовала с его матерью, когда та была жива.

Смерть можно назвать вычитанием тела из души. Думать, что при таком вычитании остаётся ноль, – абсурдно, это было бы самозабвенным обесмысливанием жизни. И это тело соседа (по площадке... по жизни...) было отделено от него самого, от его души невидимым занавесом тайны.

Многие приписывают смерти безнадёжность. Но под этой житейской безнадёжностью может скрываться упование, не имеющее рациональных опор, но пропитанное интуитивной уверенностью в том, что жизнь души не ограничена земным существованием. Упованием на встречу в некоем иномирье с близким человеком.

Если же это просто тот, чья судьба хоть на мгновение пересеклась с твоей судьбой, то всё равно остаётся памятование о смысле, уважение к Тайне, понимание того, что вычитание смерти из жизни нулевого результата не даёт.

Нас, пока оставшихся в земной жизни, согревают какие-то материальные памятки об ушедших, но это лишь опорки душевной памяти. До сих пор тепло вспоминаю про Виктора каждый раз, как подхожу к общей двери, ведущей с лестничной площадки в наш тупичок, и взгляд падает на таблички с номерами квартир. Когда-то тёзка распечатал их на цветном принтере и нарядно оформил для всех нас – соседей по четырём квартирам.

Богатый больничный опыт

Когда мне было пять с половиной лет, я пострадал от лошади.

Не от настоящей, от игрушечной. По правде говоря, это вообще была палочка, на которой я «скакал», зажав её между ног. Споткнулся, упал, и она ткнулась концом мне в живот. Вроде ничего не было видно, но живот стал побаливать сильнее и сильнее.

Увезли в Москву, прооперировали. Об этом рассказывала мама. А что помню я сам? Смутно помню скачку на палочке. Знал бы тогда, что через полвека начну ездить на реальных лошадях!.. Больше не помню ничего, кроме одного: дедушка Лазарь сидит возле моей кровати в больнице и угощает меня из картонной баночки мармеладными апельсинно-лимонными дольками. Он в белом халате, большой, и мне радостно от того, что он рядом. Не пом-

⁶ Виктор Удальцов-Стрельцов.

нится операция и как потом мне привязали к кровати руки и ноги, чтобы я нечаянно не сорвал повязки. Все это – материнские рассказы. Помнится дедушка и его дольки...

Больше я в больнице не лежал – вплоть до теперешнего инсульта.

Вот ведь как соединилось всё вместе! Палочка-лошадка – с моей поздней верховой ездой. И две больницы: смутная из детства, где был дедушка и лимонные дольки, со следующей, почти шестьдесят лет спустя, – той, где я был на грани между жизнью и смертью.

Впрочем, воспоминания способны на некоторое самоуправство.

Перечитывая мамины записи, я обнаружил, что в детстве у меня были две операции, в двух разных больницах. В два с половиной года это была Филатовская больница, а потом, в пять с половиной лет, после моей неудачной скачки на палке, – Морозовская. В моей памяти осталась одна обобщённая больница, одна операция. А дедушка навещал меня и в Филатовской, и в Морозовской. Наверное, и мармеладными дольками угощал и там, и тут...

Но при столь незначительном личном опыте я перебивал в больницах немало – у родных и близких, у друзей и приятелей. Разными были облики этих заведений, разным оказывалось общение с теми, к кому я приходил. Общим было состояние оторванности человека от привычного бытия, его погружённость в испытание проблемами своего организма, которое у каждого своё.

Своё испытание ожидало теперь и меня.

Соар или Соарт

Бывают такие люди – визионеры, способные видеть какие-то иные миры. Когда они делятся с нами опытом своих осязаемых образов *чего-то* и *где-то*, это будоражит, заставляет думать и часто наводит на какие-то важные догадки. Надо только понимать, что визионер не ты, а другой человек. Каждому даны свои видения, и смысл их – для каждого различен.

У меня есть друг – Соня Шаталова, девочка-визионер, которая видит своё иномирье, хорошо с ним знакома, пытается увязать его с нашей общей реальностью, хотя это и нелегко. Позже, после больницы, я спросил у неё: как там, в открытом ей мире, – есть ли Луч? Она подтвердила, что есть, даже сказала название: Соар. Название мне понравилось, только я сделал бы его понятнее для себя, добавив букровку в конце: Соарт, искусство воссоединения. Хотя, конечно, в иных мирах и слова иные...

Важно, что Луч встречает меня не просто так, а для чего-то. Наверное, это связано с изменениями души, с некой работой, готовящей к другой жизни, к воссоединению с теми, кто уже прошёл земной путь навстречу своему Лучу.

Думая о жизни после смерти, трудно представить какое-то автоматическое, механическое перенесение туда из земной жизни. Чтобы – бамс! – и в соответствии с набранными очками очутиться в положенной тебе местности.

По-моему, переход между жизнями скорее представляет собой именно «Соарт», совместное искусство, совместную работу – нашей души и той действительности, которая нас ожидает.

Ожидает!

Навстречу к каждому из нас обязательно тянется Луч встречающий, ожидающий, помогающий.

Он и здесь, в земной жизни, светит нам, шлёт энергию, оберегает, с Чьей-то помощью, от нелепых случайностей. Может быть, это ангел-хранитель светит нам фонариком?..

Добро пожаловать в постсоветскую больницу N⁷

Не хочу жаловаться на больницу. Просто расскажу.

По сравнению с прежними больницами советских времён мало что изменилось. Равнодушие к пациентам никуда не исчезло, хотя и не усилилось особенно. В приёмном отделении персонала немного, забот хватает, и ты постепенно понимаешь, что к тебе эти заботы не имеют почти никакого отношения. Хорошо, что рядом была Машенька, увозила со сквозняка, укутывала, добивалась от тех медиков, кого могла поймать, проведения каких-нибудь положенных действий...

Наконец, появился принимающий врач. Он оказался неожиданно внимательным, только каким-то возбуждённым. Это позже мы узнали, что он служил в «горячей точке», отсюда и неравнодушие к страданию, и нервозность.

Потом молодой санитар повёз каталку к рентгену и исчез. Машенька сама завезла, сама вывезла. Санитар снова возник и вместе с ней помчал каталку по длинному коридору в нужное отделение, здороваясь со всеми встречными, а ко мне обращаясь «уважаемый».

Опять неожиданный ракурс: белые потолочные пролёты, чередуемые с матовыми электрическими плафонами. Ну, и скорость у нас!..

В отделении санитар шепнул Машеньке:

– Уважаемая, когда прощаться будем, вы уж мне дайте что-нибудь.

Получив деньги, искренне обрадовался:

– Спасибо, уважаемая! С наступающим Новым годом!

Да, Новый год ведь на носу. Не вовремя я здесь оказался.

Или – напротив – вовремя?

Вовремя, чтобы что-то понять про жизнь и про Луч.

Не то чтобы здесь, в больнице, я пришёл к новым пониманиям. Но здесь прошёл странный поворотный этап, который вёл и к вызреванию этой мемуарной книги, и к неожиданно новому периоду моей жизни.

Сейчас, когда я уже привык к удивительной свободе от зарабатывания денег и от борьбы за судьбу написанного, мне даже странно, что я не мечтал о ней. Но как можно мечтать об инсульте?.. А иначе – каким бы путём образовалось это пространство свободы?..

Луч направляющий

Наверное, не только в момент ухода Луч встречающий ожидает человека. Может быть, он присутствует в судьбе с самого рождения. Вот только земная жизнь так устроена, что мы не сразу его замечаем. Вернее сказать, очень мало кто поначалу его ощущает, только некоторым блаженным душам это суждено.

Но когда человек хоть на мгновение почувствует этот Луч, его начинают посещать догадки – пусть редкие и смутные – о глубинных возможностях своей души, о смысле своей судьбы, о призвании. Не всегда умственные, рациональные догадки, скорее интуитивные, подсознательные... Если к этим догадкам прислушиваться, твой Луч оказывается ещё и направляющим, он помогает уловить что-то важное уже сейчас, когда многое впереди. Тогда, всматриваясь в собственные стремления, можно готовиться к важному в своей судьбе. Насколько

⁷ Больница №40, отделение неврологии. Попал я туда 27.12.2007. Выписали 23.1.2008.

восприимчив окажется человек, сумеет ли он воспользоваться этими догадками, научится ли улавливать своё главное направление бытия?.. Тут начинается искусство взаимодействия с Тайной.

Можно назвать это чувством призвания. Но можно иначе: чувством сотворчества с Высшим (вот он, Соарт). Некоторые ощущают Луч направляющий особенно остро, тогда у них формируется полноценная, вверх стремящаяся жизнь.

А если взаимодействие не получилось? Если человек вовсе не уловил зова, призвания, направления? Если нет у него ни желания, ни чутья, ни тяги к более устремлённой жизни?.. Что ж, растущее тянется к небу, но бывают и другие растения: расползающиеся вширь, живущие не по вертикали, а по горизонтали. Так же возможны и другие решения своей судьбы. Например, не искать догадок, не замечать их, жить как живётся. Зачем догадки, когда есть желания? Вот ими и достаточно руководствоваться, какой там ещё луч-перелуч.

Впрочем, все эти размышления можно только к себе самому применить, чтобы думать, какие решения принимать, как жизнь строить. А вот чтобы других судить, как они со своей судьбой взаимодействуют, – не получится. Луч у каждого особенный, судьба индивидуальное наполнение имеет. Мне бы в своей жизни разобраться... – непростое дело.

Уверен – в любом человеке есть нечто, родственное Лучу, способное откликнуться на свет сверху. Упомянул уже светящую сущность, но можно и проще. Ведь сам наш разум – это не только взгляд на жизнь, но вместе с тем источник света, благодаря которому возможно само умозрение. Наш зрячий свет!.. Именно его важно настроить на восприятие Луча, который не бьёт в глаза, а лишь подсвечивает приметы. Тогда можно разглядеть их и сориентироваться, чтобы идти своим путём. Чтобы – если говорить о воспоминаниях – рано или поздно рассмотреть этот путь получше.

Горизонтальные впечатления

Положили меня в шестиместной палате, у окна. И тут же – капельница. Тогда я не знал, что мой лечащий врач – сам заведующий отделением! – заменил более действенное лекарство, прописанное принимавшим врачом, на стандартное, гораздо более дешёвое.

В этой палате три пациента и их родня ждали сегодняшней выписки. Выписки? Удивительно! Один не разговаривал. Второй бурлил невротическими реакциями по любому поводу. Третий еле двигался. А что? – сказали мне – двадцать один день, а потом выкатывайся, такое правило. Тем более Новый год надвигается. Большие праздники...

Машеньке, после того, как она убедилась, что я устроен и меня лечат, пришлось уехать, увозя мою верхнюю одежду.

Забегал на минутку какой-то врач (оказалось потом, что тот самый, лечащий, за отделением). Не представился, расспрашивать не стал, сказал, что у него всё написано и он всё знает. Не успел я спросить, можно ли мне ходить, как он упорхнул.

Трое выписанных ждали необходимых бумажек почти до вечера.

Потом мы остались в палате вдвоём. Вторым был Коля, Николай – водила, как он представился. Лежачий, нога парализована. «А у меня всего лишь парез, – подумал я, – значит, я могу ходить». И пошёл, хватаясь за всё, за что можно. Гордился ходячестью и не знал, что это снова уводит меня ближе к грани.

Николай, понимая, что дело к новогоднему зауглу, уговаривал своих родственников его выписать, пусть и лежачего. Дома, по крайней мере, побольше внимания будет. Его жена, дочери и зятя, хотя и рады были бы домой забрать, не очень верили, что врач разрешит – в таком-то состоянии! – и пока что привезли Николаю на всякий случай телевизор.

На следующее утро приехали Машенька с Ксюшей⁸. Машенька помогала мне всячески, выясняла, чем меня лечат, охотилась за лечащим врачом. Ксюша присматривалась к голубой ели, которая росла у окна: как бы украсить её мишурой к Новому году... Звонил Антон⁹ из Таиланда, где он находился в разгаре долгого путешествия. Приходили Яков¹⁰ и Саша¹¹. Вот кого не было в палате – так это доктора.

Назавтра снова пришла Машенька, изловила врача, поговорила с ним. Попозже приходила Ксюша с нашим общим знакомым Лёшей¹². Мы долго общались, но к вечеру я говорил всё неразборчивее.

Проводив их, я подошёл к окну. Надо же, перед ним и впрямь росла высокая мощная ель, на которую я раньше не обращал внимания. Теперь я глядел на неё и ощущал какой-то исходящий от неё сигнал. Словно она стояла здесь как знак стойкости, как свидетельство возможности зеленеть среди зимы...

Вот к ней подошли Ксюша с Лёшей. Он остался наблюдателем, а дочка, азартно подпрыгивая, забрасывала на ветви ели сверкающую мишуру. Словно подчёркивая значение этого поставленного судьбой знака, превращая дерево в символ Нового года, новой жизни, перенимающей эстафету от прежней.

Призвание или призвания

Представление о ситуации, в которой я находился, у меня было совершенно расплывчатым. Мало что я знал тогда об инсультах, всех врачей склонен был считать знающими и ответственными. Происходящее воспринимал просто как бытовой эпизод – что-то вроде гриппа. Надо перетерпеть, пролечиться и вернуться к привычной жизни. Никаких особых размышлений о смерти, которая где-то рядом...

Сейчас, когда после этого прошли годы, когда закончены воспоминания и я вернулся к первой главе, чтобы улучшить текст, гораздо виднее тот узкий мостик, который отделял меня от продолжения жизни и завершения воспоминаний. И ясно, что он мог рухнуть в любой момент.

Но всё же в это больничное время бродили во мне мысли о том, насколько же я справился со своим жизненным призванием. Правда, они ограничивались, в основном, образами конкретных книг – написанных или ненаписанных...

С тех пор, пройдя воспоминательно-мемуарный путь, я всё лучше понимаю, что вопрос призвания выходит далеко за рамки профессиональной деятельности. Вернее говорить даже не столько о призвании, сколько о разгадывании своего прообраза личности, о его осуществлении. В этот прообраз входит, наверное, целый набор призваний. Наивно было бы думать, что каждой душе уготована некая однозначная специализация, что наше дело – лишь опреде-

⁸ Моя младшая дочь.

⁹ Мой младший сын.

¹⁰ Мой младший брат.

¹¹ Мой старший сын.

¹² Алексей Сидоров.

лить её, присматриваясь к Лучу. Велик спектр даже обычного дневного света. Спектр Замысла, наверное, ещё богаче.

У многих людей, по-видимому, присутствует в жизни некоторое главное призвание, даже у самых универсальных личностей. Гёте для нас прежде всего поэт и писатель, хотя вместе с тем он был и учёным, и театральным деятелем, и политиком. Или всё дело в этом «для нас», которым человечество закрепляет в своей культуре то, что представляется наиболее значительным?..

Да и в любом человеке сочетаются разные стороны возможного осуществления личности. Есть родительское призвание, искусство дружбы, линия долга, взаимная предначертанность любви, ещё много чего. Если что-то одно главенствует в личности, это значит, что усвоена ориентирующая подсказка Луча, но другие приметы, другие намёки этим не обесмыслены.

На память почему-то приходит один двусторонний книжный шкаф...

Был период, когда мне часто доводилось входить в кабинет к Александру Владимировичу Меню (это всегда было особой радостью) – в мансарду, потолок которой смыкался с книжными стеллажами вдоль стен. Потом, говорят, её перестроили, но этого я уже не видал. Слева от двери – красный угол, икона, лампада, ряса висит, распятие, а рядом шкаф до самого потолка, с богословскими книгами – толстыми, в тёмных солидных переплётках...

А с противоположной стороны этого шкафа тоже были книжные полки, сверху донизу пестревшие разномастными корешками. Там, в закутке, стояла маленькая кушетка, на которой ночевал отец Александр, если заработается допоздна. На полках зашкафья стояла фантастика (не так много фантастических книг выходило в советские времена, а здесь гнездились самые лучшие), хорошие детективы и умный юмор.

И ничуть, надо сказать, эти две стороны шкафа не противоречили друг другу своим содержанием – так же, как и душа хозяина была цельной и единой.

Любовь приходит на выручку

Машенька почувствовала неладное быстрее и острее, чем я. С утра следующего дня она примчалась в больницу и осталась рядом со мной уже надолго.

Как выяснилось позже, от бравирования ходьбой у меня случился ещё один инсульт. Шансов задержаться в земной жизни было не так уж много, хотя я не очень это понимал. Мой так называемый лечащий врач старательно забывал выписать капельницы, уходя на выходные (в том числе на длинные новогодние праздники), положенные таблетки порою нечаянно заменяли на другие, обследовать меня никто не собирался...

Тем временем настал Новый год.

Колю, единственного оставшегося соседа по палате, врач всё-таки выписал (легко, даже с некоторым удовлетворением). Многочисленные родственники облепили своего Николая, как муравьи, и утащили в машину вместе с телевизором.

Приехала Ксюша – и мы встречали 2008 год втроём, одни в палате. За окном мерцала мишурой голубая ель.

Само по себе это было замечательно.

Но тем временем состояние моё постепенно становилось хуже. А тут ещё настали долгие всеобщие новогодние праздники. Ох, и гулял персонал отделения!..

К счастью, Машенька была со мной – и билась за меня. Она замечала то, чего не видел я, и взяла на себя всё, что могла. Через нашего друга и врача, всегдашнего спасителя, Николая

Шастина, приехавшего в больницу, как только его позвали, она воздействовала на дежурного врача, чтобы нас перевели в двухместную палату. А забытые лекарства вписали заново.

Видя, что мне всё хуже, Машенька привела очередного дежурного врача – это был тот самый доктор¹³, что принимал меня при поступлении. Тот, кто прошёл через «горячую точку» и мог бы стать равнодушнее многих. К счастью, он оказался настоящим врачом. Распознал начинающийся отёк мозга, а поскольку реанимации при этом отделении не было, побежал в реанимацию при другом отделении, притащил необходимые лекарства и тут же поставил капельницу. Спасибо, Никита Валентинович!

Но его дежурство закончилось, а Машенькино нет. Весь январь она провела рядом со мной, побеждая своей настойчивостью всех и вся. А с ней вместе пришла и другая помощь, житейская и духовная.

Антон срочно прилетел из Таиланда, прервав своё путешествие, чтобы быть рядом и максимально помочь. Звонили и приезжали друзья, даже те, с кем мы давно не общались. «Что сделать?.. Чем помочь?..»

Чувствовалась молитвенная поддержка со всех сторон. Мы с Машенькой ощущали её просто физически. И у неё, и у меня появлялись новые силы, когда их вроде бы и не могло быть уже. Да и события складывались порой неожиданно чудесным образом. Иначе всё было бы гораздо плачевнее...

Существуют ли мешающие обстоятельства?

Да, вот такие обстоятельства жизни... Можно ли их назвать благоприятными? Сейчас – да, а тогда? Тогда – нет, а сейчас?..

Если воспринимать обстоятельства как непрерывно меняющиеся условия любой жизненной задачи, да и вообще любого существования, то нет никакого смысла сетовать на них. Их надо осваивать.

Более того, эта метафора – про условия задачи – наводит нас на мысль о процессе обучения. Ведь обучение – это путь от разъяснения принципов к освоению частных. Опираясь на свои устоявшиеся принципы жизни, мы могли бы прирасти к ним. Однако этому мешают изменяющиеся обстоятельства. Они выставляют перед нами порою совершенно другие позиции, на которых отныне придётся основываться. И тогда перед нами открывается новое поле конкретных частных жизни, которые могли бы нас не коснуться. Другое дело, что при определённой нерадивости можно отгораживаться от нового опыта и цепляться за излюбленный старый. Но это уже наш личный вопрос о готовности к обучению.

Нет, всё-таки обстоятельства – это не только условия решения задачи. Они предназначены для освоения, для усвоения живительных веществ, содержащихся в них. Личное усвоение – главная цель любого жизненного процесса, физического или психического, интеллектуального или духовного. Без этого мы не превратим чужое в своё. Без этого мы не знаем, что из постороннего – наше.

Переживания со временем переходят в воспоминания. Но переходит ли всякое переживание, а значит и воспоминание, в усвоение? Для этого надо потрудиться душе. Надеюсь, то, что я пишу, – часть этого труда.

¹³ Никита Молочный.

Трубокур

Об этом человеке я пишу, имея в виду вовсе не его одного. Просто так вышло, что он заведовал отделением, куда я попал, и стал моим лечащим врачом. Так получилось, что для нас с Машенькой он стал обстоятельством, затрудняющим выживание, и тем самым – как бы воплощением отрицательного полюса постсовковой медицины. Бывает иначе, лучше или хуже, но нам достался этот доктор. Человек-метафора.

У себя в кабинете он курил трубку. То одну, то другую. Не стеснялся этого – дверь часто была полуоткрыта (если он был там, конечно). Вот я и называю его Трубокуром. Больше пришлось общаться с ним Машеньке, и многое я пишу с её слов. Иногда она сразу делилась очередным впечатлением от него. Иногда рассказывала долгое время спустя. Из соображений гуманности, которой явно не хватало самому Трубокуру.

Первый разговор с Машенькой (которого она с трудом добилась) был обескураживающе оптимистичен. (Может быть, это было два разговора или три, потому что внимание Трубокура надолго удержать не удавалось).

– Что вы беспокоитесь? Всё это у вашего мужа от шейного остеохондроза. Вот увидите: два-три дня, и он будет в норме.

– А ходить ему можно?

– Ходит же он, я слежу за ним. Всё лучше ходит.

– Речь у него иногда невнятная...

– Да ну. Лучше вас он говорит.

Машенька молча проглотила «комплимент».

– И вообще у нас большинство больных тяжелее. У меня за вашего мужа голова не болит.

– Знаете, а у меня он один, и именно за него душа болит.

– Ну, душа... Я в Бога не верю. Но понимаю вас.

– У вас ведь должны быть какие-то обследования?

– Да ничего у нас нет, кроме старенького компьютера с томографией. На нём ничего не увидишь.

– Может быть, заплатить вам? – осмелела Машенька. – Вот, у меня есть... Или ещё кому-то?

– Нет, платить не надо. И остальным никому денег не давайте. Всё равно мы делаем то, что должны.

Здесь нужен комментарий. Предложить деньги для Машеньки было просто подвигом. Мы с ней не умеем давать взятки. Но в этот раз она считала необходимым это сделать. Слишком большое впечатление на нас с ней произвёл недавний разговор близкого нам человека в одном из крупнейших всероссийских лечебных центров:

– Вы москвичка, – говорил ей профессор, – у вас есть полис, вам повезло. Всё лечение будет для вас совершенно бесплатно. Но благодарность врачу приветствуется.

– И какого же размера... благодарность?

– Мне, хирургу, – от пятидесяти до семидесяти тысяч. Рублей, разумеется. И лечащему врачу тысяч двадцать не забудьте.

Добавлю, что даже перевязочные материалы там надо было покупать за свой счёт, в аптеке. Платить за смену постельного белья, и за любую другую услугу...

На этом фоне бескорыстие Трубокура выглядело неожиданным. Тем более что лежачий Николай и другие пациенты обеспечивали себе услуги санитарок с помощью сотенных бумажек (да и то не всегда удавалось дозваться). И Машенька, стесняясь, всё-таки клала купюры в карман санитаркам и медсёстрам, пока деньги не стали иссякать. Потом, когда мы уже были дома,

Машенька разговорилась со знакомой, у которой муж лежал в этом же отделении, у Трубокура. И выяснилось, что бескорыстие Трубокура объяснялось своеобразно. Суммы, названные знакомой («У нас сын коммерсант, он на всё был готов» – извиняющимся тоном говорила она), превосходили наше некоммерческое воображение. Очевидно, что предложенная Машенькой сумма, гораздо более скромная, оказалась вне диапазона интересов Трубокура – и он гордо отказался за себя и за всех.

Потом мне стало хуже. И очередной разговор Машеньки с Трубокуром носил уже другую окраску:

– Надо же сделать что-нибудь! – говорила Машенька. – Есть же всякие новые лекарства.

– Не вижу в этом смысла, – отозвался Трубокур меланхолично. – Я вообще в медицине разочаровался.

Машенька опешила:

– А зачем же вы здесь работаете?

– Ну, мне уже до пенсии недалеко... А у вашего мужа – просто раковая опухоль в мозгу. Тут ничего не сделаешь.

Как Машенька, так остро из-за всего переживавшая, это выдержала?.. Она даже нашла силы спросить:

– Откуда же вы знаете? Ведь никаких обследований не было.

– А я и так вижу. Знаете, сколько у меня больных перебивало...

К счастью, она Трубокуру не поверила. Молитвы, друзья и деньги, неожиданно собранные многими сочувствующими, позволили отвезти меня на томографию в другую больницу, а потом в большой нейрохирургический центр. Стало более или менее ясно, что происходило в моем мозгу (один инсульт дома, два других в больнице).

Под давлением Машеньки Трубокур был вынужден назначить хоть какие-то процедуры. Как только мне стало лучше, она попросила одного из наших друзей перевезти меня домой.

С каким облегчением, наверное, Трубокур, наконец, меня выписал, когда Машенька его об этом попросила! Я и так пролежал у него на несколько дней больше положенного. Да и летальных исходов у него и без меня хватало. Машенька видела в коридоре бывших пациентов, накрытых с головой, но мне об этом рассказала тоже намного позже...

Кстати, тяжёлых больных могут доставить домой бесплатно. Для этого заказывают «скорую помощь» – в ночные часы, когда работы меньше. Привозят к подъезду дома, а там оставляют добираться до квартиры самостоятельно (посреди ночи!) ... Спасибо тем, кто помог нам сделать это иначе.

Это уже не о Трубокуре, а о характерных чертах нашей медицины... А Трубокур вызывает у меня сейчас лишь ироническое удивление. Но рассказать о нём необходимо. Чтобы знать: в больнице приходится бороться за своих близких не только с болезнями, но и с трубокурами. Даже если они не курят трубку.

Немного о медицине

Ещё из бесед Антония Сурожского, который сам был врачом по светской специальности: «Я думаю, медицина как отрасль человеческой деятельности занимает совершенно особое место именно потому, что наука в ней сочетается с ценностями, подходом, не имеющими ничего общего с наукой. В основе врачебного подхода – сострадание, а сострадание по самой своей природе ненаучно. Это человеческий подход, который может быть привнесён в любую отрасль человеческой деятельности, но медицины вовсе не существует вне сострадания, без

сострадания. Медик, если он только человек науки, способный холодно, хладнокровно, бесстрастно делать то, что требуется, без всякого отношения к пациенту; медик, для кого главное не пациент, а действие врачевания, будь то лекарственное лечение, хирургическое вмешательство или иные методы, – не медик в том смысле, в котором я надеюсь, я хотел бы, чтобы мы все думали о медицине.

...В основе отношения врача к пациенту, к проблеме болезни, ко всей этике и философии медицины лежит сострадание, чувство солидарности, уважение и благоговение перед человеческой жизнью, отдача тому единственному человеку, который сейчас перед ним. Без этого медицинская деятельность может быть чрезвычайно научной, но теряет самую свою суть.

...Пациент не нуждается в том, чтобы мы ощущали его боль или его страдания, он нуждается в нашей творческой отзывчивости на его страдания и его положение, нуждается в отклике достаточно творческом, чтобы он подвинул нас к действию, которое в первую очередь коренится в уважении, в благоговении по отношению к *этому* человеку. Не к анонимному пациенту, не к седьмой койке тринадцатой палаты, но к *человеку*, у которого есть имя, возраст, черты лица, у которого есть муж или жена, или возлюбленный, или ребёнок. К кому-то, кто должен стать для нас до предела конкретным и чья жизнь, следовательно, значительна не только потому, что таково наше отношение к жизни вообще, не потому, что нас научили, что наша цель – оберегать жизнь, продлевать её как можно больше, но потому, что *этот* определённый человек, нравится он мне или нет, значителен.

...Можно говорить об очень глубоком сотрудничестве между пациентом и врачом. Сотрудничество должно существовать всегда, потому что пациент не может быть просто «объектом лечения». Если он не сотрудничает, не понимает, что с ним происходит, не борется за жизнь, за цельность вместе с врачом, то лекарства не всегда могут помочь.

...Врач, видя, что не может человека исцелить, порою старается «скользнуть» мимо него: его похлопать по плечу, сказать несколько слов и пройти, оставив всю заботу – а она очень тяжела, – на сёстрах милосердия и на семье...»

Мудрый взгляд человека, обдумывающего духовно-практический смысл своей профессии.

Мне же клиника, где я находился, представлялась чем-то вроде армейского подразделения, где нижним чином является пациент. Или неким рутинным производством, где пациент должен играть роль болванки. Или пирамидой специалистов, возглавляемой профессором Случаем. О медицинской науке мне судить трудно. Но для человека, попавшего в такую больницу, медицина превращается в науку выживания – с помощью врачей или несмотря на неё. Здесь дело как-то не доходило до того врачевания, которое становится для человека помощью в обретении целостности, до возможности пациента сотрудничать с врачом – по слову Антония Сурожского.

Мне предстояло понять и другое. Что болезнь – это своего рода телесное суммирование душевных ошибок. Что она становится для тебя важным упражнением на преодоление. Что здоровье – это прежде всего умение договориться с собственной природой. Что это сокровище приходится разыскивать у врачей тогда, когда не разыскиваешь его у природы.

Пока мысли мои принаравливались к новому состоянию, я всё лучше понимал, что одно из важнейших для меня лекарств, которое никто не пропишет, – это поиски смыслов в проживании, обретение цельности... В нетерпении и в предвкушении этой большой терпеливой работы память выхватывала отдельные кусочки того, что предстояло сложить в некоторую мозаику.

Легенда о родителях

Прежде всего, хотелось бы рассказать о родителях, легенду о них. Не потому это легенда, что в ней какой-то вымысел. Просто она давно для меня превратилась в некий образ, отшлифованный восхищением перед тем, как переплелись эти две пульсирующие судьбы.

Отец¹⁴ родился в далёком сибирском Усть-Каменогорске, в русской семье – такой русской, что больше некуда... Дед его был углежогом¹⁵, отец столяром и книготорговцем, а мать вела хозяйство. Рано стал самостоятельным. Сменил много городов и занятий, набрался ума-разума от многих замечательных людей, учился на художника, стал учителем, а когда разразилась война – пошёл воевать добровольцем, получил много наград за отвагу. Он побывал в разных странах и всюду старался понять, как люди учат и воспитывают детей. С фронта посылал письма в «Учительскую газету» и в Наркомпрос¹⁶ – с мыслями о послевоенной педагогике...

Мама¹⁷ родилась в небольшом белорусском городке Горки, в еврейской семье – такой еврейской, что больше некуда... Дед её был цадиком¹⁸ и переписчиком Торы, отец врачом, а мать учительницей. Сама она была девочкой умной и непрактичной. Поступать в московский институт отец отвёл её за руку. Война и эвакуация в Сибирь, где она работала воспитателем в детском туберкулёзном санатории, стали для неё заменой выпускных экзаменов. Вернувшись в Москву, она стала школьной пионервожатой, а потом учительницей. Со своими школьниками написала письмо автору заметки в «Учительской газете»...

Так они познакомились – сначала в письмах, а потом он приехал в Москву на побывку. И ещё приезжал, и они полюбили друг друга, и поженились. Ему тогда было тридцать пять лет, а ей на десять лет меньше.

Когда война закончилась, и отец вернулся с фронта насовсем, они обратились в Наркомпрос с просьбой послать их на работу в какой-нибудь из самых *запущенных* детдомов.

В первом из них – в городе Энгельсе – я и родился. Отец разбивал с детдомовцами цветники, заводил подсобное хозяйство, запускал змеев и воздушные шары из папиросной бумаги, делал модели кораблей и самолётов. Мама организовывала внешкольные занятия, игры, самодеятельность. Они превращали трудовые обязанности детей в увлекательное времяпрепровождение, а их досуг – в праздник. Давали детям то, чего не мог дать никто из окружающих.

Но местных работников детдома, не устраивало то, что эти странные супруги любили детей не по должности, а на самом деле. Они мешали персоналу разворовывать то, что предназначалось детдомовцам, мешали вести спокойную жизнь, старались пробудить в своих подопечных инициативу, которая напрочь не нужна была тем, кто привык командовать. Их выжили из одного детского дома, выживали и из тех, что были потом, где каждый раз они начинали всё сначала.

Через несколько лет, когда они окончательно поняли, что долго им нигде не удержаться, пришлось вернуться в Москву. Мама стала снова работать в школе. Отец работал то в школе, то в одном из московских детдомов. Летом они вместе работали в пионерских лагерях.

Тем временем отец нашёл единомышленников, мечтавших о постепенном, незаметном и мощном преображении общества средствами педагогики. Когда, после крушения стали-

¹⁴ Гавриил Яковлевич Кротов.

¹⁵ Углежог: изготовитель древесного угля.

¹⁶ Народный комиссариат просвещения.

¹⁷ Кротова Мария Лазаревна.

¹⁸ Цадик: благочестивый просвещённый человек в еврейской общине.

низма, один из политиков, рвущихся к власти¹⁹, предложил им составить для него педагогический раздел программного документа, они с радостью взялись за работу.

Но к власти пришёл другой политик²⁰. И его команда принялась методично расправляться с командой противника. Дошла очередь и до отца. В то время старались не заводить политических дел, обходиться уголовными. Организовали дело и для него. Шитое белыми нитками, но безнадежно увесистое...

Никакие лагеря не могли истребить в отце педагога. Он разводил в зоне цветы, чтобы изменить мироощущение эков, вёл с ними душевные беседы, чтобы понять, что делает человека преступником, незаметно образовывал и воспитывал лагерную молодёжь. Он писал книги о том, какой на самом деле должна быть система перевоспитания правонарушителей, разрабатывал проекты сельскохозяйственной самокупаемости лагерных пунктов, чтобы заключённые могли осуществлять себя в настоящей трудовой деятельности. Он оставался отцом троих сыновей: писал нам, насколько позволял режим, сочинял множество книжек, переплетал их, оформляя цветными картинками.

Ещё он писал статьи о тирании, которая сохранилась после тирана, о глупости правителей и нелепостях правления. Некоторые из этих статей удавалось переслать на волю. Некоторые перехватывали. Перехваченного было достаточно, чтобы судить отца ещё раз, закрытым судом, прямо в тех местах, где он находился. Его объявили рецидивистом и перевели в лагерь строгого режима. В общей сумме ему пришлось просидеть семнадцать с половиной лет.

Мама преподавала в школе русский язык и литературу. Она поступила в вечерний педагогический институт и блестяще закончила его, готовясь к занятиям после проверки бесчисленных ученических тетрадей. Стала завучем, продолжая преподавать свои предметы, а в случае необходимости заменяя заболевших учителей английского и французского, истории, географии и обществоведения. Вела кружки и факультативы, устраивала вечера, утренники, праздники и экскурсии. Летом работала в пионерских лагерях, привлекая нас, сыновей, в помощники. Её отряды всегда были лучшими.

Мама снаряжала отцу посылки – каждый раз, как позволяли правила. Ездил к нему на все дозволенные свидания, кроме тех, которые уступала мне. Писала письма с подробными отчетами обо всей семейной жизни.

Когда отец вышел на свободу, в Москве ему жить не дали. К счастью, удалось купить домик в деревеньке Бавыкино²¹. Переселилась туда, выйдя на пенсию, и мама. Для неё, интеллигентной горожанки, это было непростым испытанием: жить без водопровода, без телефона, вести деревенское хозяйство, копать грядки, рыхлить, поливать, удобрять...

К их дому местные жители водили своих гостей на экскурсию. Пустырь, не так давно поросший чертополохом, превратился в небольшой парк, где росли сосны, названные именами внуков, дубки, у которых поначалу куры пытались склевать верхушки, лиственницы, под которыми завелись маслята, огромные можжевельники, похожие на кипарисы, сирень: белая и лиловая, простая и махровая... Отец приносил крошечные деревца из ближних и дальних лесов, из оврага, из заброшенной деревни...

Дом был увит плющом и диким виноградом. По забору вился хмель. Повсюду росли цветы – им особенно покровительствовала мама. Громадный пионовый куст, взлетающие вверх космеи, «аленький цветочек» – кариопсис, многочисленные сорта циний и астр, белый табак,

¹⁹ Вячеслав Михайлович Молотов (1890—1986).

²⁰ Никита Сергеевич Хрущёв (1894—1971).

²¹ Небольшая деревня в Калужской области, между городами Боровск и Обнинск, недалеко от села Тимашёво.

ночной аромат которого обволакивал скамейку в саду, многоэтажный люпинус... А вот ирисы традиционно (ещё со времён странствий по детдомам) выращивал отец.

Был и сад-огород: с яблонями, грушами, сливами, вишнями, с аккуратными грядками овощей и зелени, со стенками фасоли или бобов, с золотыми головами подсолнухов, с неистребимым топинамбуром. Повсюду, не только в саду, но и на тропинке к колодцу, и вокруг спортивной площадки можно было угоститься крыжовником, смородиной или малиной. Впрочем, была проложена и особая малиновая аллея.

Всё это делалось не для себя, а уж тем более не для экскурсий. Всё больше становилось внуков, всё чаще привозили сюда детей родственники и знакомые. Дом с участком превратился в педагогический заповедник.

Качели, песочницы, душ в виде избушки на курьих ножках. Чердак, превращённый в большую игровую комнату – с помостами, столиками, дверцами, закутками. Русская печь, разрисованная русскими сказками, забавные панно по всему периметру жилой комнаты, сказочные картины повсюду, местная стихотворная газета, аптечка с доктором Айболитом и чулан для варенья с Карлсоном... Даже карнизы с занавесками – это дед и бабка с разведёнными в стороны руками.

За круглым столом, под уютным оранжевым абажуром, играли в шахматы и шашки, в поддавки и щелкунчики, в домино, рич-рач, бирюльки, монопольку, во всевозможные словесные игры и в игры, выдуманные самими детьми... А вот в карты не играли.

Здесь взмывали в небо воздушные шары и змеи. Устраивались жилища в шалашах и на деревьях, совершались полные открытий походы по окрестностям. Здесь приветствовалось любое творчество, будь то лепка из глины, готовка или рисование. Всё работало на развитие ребёнка...

Луч... соскребающий

В Луче встречающем мне предстоит – как бы там это не выглядело – трудная, даже болезненная работа. Ведь далеко не всё, что я делал в жизни, было лучезарным, прямым, светлым, верным. Сколько неправильного я помню, а сколько, наверное, и позабыл...

Много надо было бы соскрести, потому что оно непригодно для будущей, новой жизни. Много надо заново осмыслить, просветить Лучом, как на рентгене.

Ведь переход в Тайну это не дорожка на пункт приёма вторсырья. Тогда никакого Луча и не надо было бы.

Думаю, это не очень просто, даже мучительно. Не отсюда ли пошли представления об аде, чистилище, Страшном Суде?

Говорили мы однажды с Александром Владимировичем Менем о Рае, о будущей жизни. Началось с «Розы мира» Даниила Андреева, к которой он относился с осторожностью.

– Наверное, автор всё это видел, – соглашался он. – Вот только где бродил в это время – неизвестно...

О переходе к будущей жизни отец Александр говорил доходчиво:

– Вот как, по-моему, это происходит... Умер человек, и идёт его душа к Раю со всем прожитым, во всех нажитых свойствах, как в капустных листьях. И то, что не годится для Рая, с него потихоньку отпадает: зачем оно там? В этом-то всё и дело – останется ли от тебя хоть какая-нибудь кочерыжка к тому моменту, как ты дойдёшь, или доходить уже будет некому.

Думаю, что представление о Луче встречающем близко к этому. Но у каждого остаётся выбор – самому всякую гниль свою оттирать, или до Луча встречающего оставить эту работу. Мне кажется, лучше самому постараться заранее.

Есть, впрочем, ещё один вариант выбора. Не думать обо всём этом вовсе. Либо как атеист: мол, нет ничего после того, как помрёшь. Либо как агностик: мол, ничего мы о Тайне не знаем, и знать не обязаны, так что ни к чему размышлять напрасно. Либо с видоизменениями: сегодня я атеист, завтра агностик, потом для разнообразия верующий (ну, не всё время, а так, на Пасху), потом опять атеист или агностик, как настроение сложится. Но атеистически, агностически или артистически, разными виртуозными способами, – происходит отгораживание от Тайны. Это только отсрочка.

Тот же, кто относится к Тайне с уважением, представляет её по своей вере в Высшее, в своих образах, и не обязательно ему будут близки мои те образы, которыми пользуюсь я. Но мне почему-то кажется, что эти образы выводят нас к единому, общему для всех нас смыслу.

Чему научил меня отец

Отец мой, Гавриил Яковлевич происходил из многодетной бедной семьи. По призванию он был педагогом, но соткано это призвание из множества разноцветных нитей. Преподавал рисование, историю, труд – и отношение к жизни.

Он учил меня разным умениям: ездить на велосипеде, фотографировать, выпиливать, выжигать, мастерить всевозможные самоделки. Учил своим взглядам – не нарочито – в наших с ним разговорах, в своих письмах, в своих книгах и пересказах. Учит до сих пор, ведь его жизненный опыт составляет часть моего собственного.

Довоенный, военный, педагогический, лагерный опыт... Когда он оказался в лагерях, мы общались редко, но интенсивно и глубоко. Кое-что описано в моей повести «Свидание с отцом». Этим я был подготовлен к чтению «Архипелага ГУЛАГ» и прочего самиздата. Иначе вряд ли я мог бы трезво относиться к советской власти и связанным с ней коллизиям.

Но больше того – с помощью отца, его судьбы и его интереса к развитию человеческой души я учился понимать всякого человека, каковы бы ни были его обстоятельства жизни, заглядывать в глубину личности и стараться постичь становление характера. Кроме того, отцовский опыт учил меня не бояться многого: начальства, возможности попасть в тюрьму, старости, болезней, да и всякого другого. Зэковские «три не» – ничему не верь, ничего не бойся, ничего не проси – я впервые услышал именно от отца, когда он был одет в полосатую одежду «особо опасного рецидивиста», каковым его объявили. Главным мне показалось «ничего не бояться».

Его послелагерная жизнь в деревне Бавыкино учила меня отношению к труду (до последней капли сил), любви к земле и всему растущему на ней, возможностям предметного взаимодействия с ребёнком. Не всегда отношения с детьми у него складывались ровно (порой мешали характер, возраст, долгое отчуждение от детской жизни), но и трудности эти были поучительны.

Даже его уход стал для меня уроком... Он перестал есть и пить, перешагнув тот порог, на котором прекращается общение с живыми. Но что-то ещё – или уже – не давало ему покоя. Что-то он хотел сказать перед уходом, словно видел нечто важное, но речь его прекратилась. Только высохшая узловатая рука время от времени приподнималась и показывала наверх. Словно он вспомнил шуточный уговор с моей мамой – о том, что тот, кто умрёт первый, даст знать другому, если есть свет за тёмной завесой смерти. И выполнял этот уговор из последних сил...

Был единственный и нелепый случай – лет шесть-семь мне было?.. или чуть меньше?.. чуть больше?.. – когда отец «учил» меня физически.

В гардеробе, под бельём, лежала мамина сумочка, где она хранила деньги, накопленные на крупные расходы. Вот эти деньги и пропали – двести рублей. Очень много по тамошним временам и по нашей небогатой жизни.

Поскольку я вполне мог сберечь монетку от сдачи в свою пользу, а однажды был облачен в создании секретного накопления в туалете (всё мечтал о килограмме семечек), то вполне логично было подумать на меня. Отец уговаривал меня признаться – и так, и этак. Даже во время прогулки показал на здание прокуратуры: вот, мол, дом, где неотвратимо расследуют преступления! Я уже и рад был бы сознаться, вот только не в чем. Эта сумма далеко выходила за рамки моего мальчишеского воображения, и покуситься на неё для меня было невозможным.

И вот тогда отец прибег к физической мере воздействия. Наверное, ни разу этого не делал, поэтому получилось не очень внушительно. Он раздобыл где-то пучок коротких сухих прутиков (символ розог?) и несколько раз, несильно, шлёпнул им меня, даже не требуя снять штаны. Больно не было, просто ни чуточки. Недоумение только: как же он не понимает, что нечего мне сказать? Тут как раз вошла мама, за меня заступилась – на этом всё и кончилось.

Больше со мной о пропавших деньгах никто не заговаривал. Только через много лет выяснилось, что деньги украла женщина, которая приходила помогать бабушке по хозяйству. Сама женщина и призналась кому-то. Может, на смертном одре, может, и раньше.

Никакой обиды на отца у меня не осталось. Потому что и тогда её не было. Только лёгкая озадаченность: неужели не очевидно, что я не мог эти деньги взять?.. После этого я перестал и монетки со сдачи себе оставлять. Меня больше устраивало быть невиноватым, даже если наказывают. Было в этом какое-то самоутверждение.

Перечислить всё, чему я научился у отца, невозможно. Но вот ещё одна существенная вещь – это умение фантазировать. Мы нередко сидели с ним перед печкой, где горели дрова, а потом вспыхивали угли синеватыми языками пламени (надо было дождаться полного их прогорания, чтобы закрыть вьюшку, сохранив тепло без риска угореть) – и рассказывали... Сначала рассказывал он мне: о том, что читал, или придумывал своё. Потом сочиняли вместе. Потом по очереди. Главным героем наших сказок стал Огненький человечек²², которому удавалось побывать везде и разворачивать ход событий к лучшему. Полвека спустя я написал о нём сказку-крошку, хотя надо бы – сказочную повесть.

Отец был атеистом, что не мешало ему в старости, когда мы бродили по лесу, громко и радостно распевать протестантские гимны. Уверен, что мы с ним встретимся в вечной жизни. Всё-таки он работал на вечность и меня учил тому же. Даже если это принимало вид утопического социализма или социальной педагогики. Хочется, чтобы и здесь, на земле, его некоторые книги увидели свет. Да и самому хочется успеть поучаствовать в этом. Ну, а всё остальное – Там.

Соединённость с Тайной

Что это означает – «Там», «Тайна»?..

Некоторых раздражает слово «тайна» с большой буквы. Мол, главную роль в человеческой жизни играет познание, а «тайна» – просто тёмный закуток, до которого оно пока не добралось. И когда-нибудь непременно доберётся...

²² Существо, которое может жить всюду, где огонь и свет, но и в промежуточных сферах может передвигаться.

Но другим людям, к которым отношусь и я, такой взгляд кажется наивным. Хочется сказать не только о тайне смерти, но в целом – о Тайне, которой пропитана наша жизнь.

Всю область знаний человечества за все времена можно сравнить с островом, размеры которого несопоставимо малы в сравнении с океаном Тайны, который его окружает. Чем больше успехи познания, тем шире его граница с неизвестным. Мало того, мы встречаемся с Тайной и тогда, когда успешно продвигаемся в любом исследовании – будь то вглубь (в структуру материи, например) или вширь, в космические дали.

Но область Тайны нельзя считать чуждой для человека. Она обладает животворными свойствами, и мы соединены с ней многими нитями, не очень поддающимися рациональному анализу.

Одна из таких нитей – тот Луч, который стал камертоном этой книги. С логической точки зрения, это всего лишь образ. Но разве малую роль играют метафоры в нашей жизни? Может быть, именно с их помощью у нас есть возможность воспринимать многое из того, что не является рациональным знанием.

Луч из Тайны помогает мне делать свою человеческую работу по осмыслению жизни, разве этого мало? Не хочется проводить его спектральное разложение.

Для человека важно, что Тайна – это не только неизвестное, которое рано или поздно может стать известным. Это ещё и *невместимое*. То, что человеку не понять никогда, каких бы высот ни достиг его интеллект. Но и неместимое можно почувствовать с помощью образного виденья, оберегающего нас от того пламенного смысла, которого нам не выдержать.

Но Тайна – это ещё и надежда. Надежда на встречу Там с теми, с кем расстался здесь...

Чему научила меня мама

Маму называли Мусей. Окружающие обращались «Мария Лазаревна». Для кого-то она была Мариной...

Почти закончив знаменитый ИФЛИ²³ к началу войны, она успела получить диплом – и утратить во время эвакуации. Всю жизнь работала с детьми: в туберкулёзном санатории, в школах, в детских домах, в пионерских лагерях, в собственном деревенском доме.

Она ничему не учила меня как учительница – даже в сороковой школе отдала (по этическим соображениям) в класс, где русский язык и литературу вела не она. Но научила многому. Попытаюсь сказать о главном.

Центральным её свойством было чувство долга. Во всём. Когда я вёз её – после обширного инсульта – на каталке в приёмном отделении, она уже была практически без сознания (и вскоре впала в кому, из которой уже не вышла), вдруг её губы зашевелились. Наклонившись, я услышал последнюю, такую естественную для неё фразу:

– Я сейчас встану...

Всегда, когда она садилась на минутку отдохнуть, она твердила эти слова как заклинание.

Самым сильнодействующим способом маминого обучения для меня становилось вовлечение в практические ситуации. Однажды она заболела и попросила меня провести занятие в шестом классе (я тогда учился в восьмом). И дала листочек, на котором было расписано всё:

²³ Московский институт философии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевского, существовал в Москве в 1931–1941 годах.

когда, кого и о чём спросить в классе, в каком порядке это делать, на что обратить внимание. Это был не специальный листочек для меня, а её обычный план занятия. Такие планы – для занятий, бесед и прочей педагогической работы – она составляла всегда, ещё со времён работы в детских домах. Хотелось бы мне опубликовать её «Беззубовский план-дневник», интересный и как исторический документ, и как образец педагогической добросовестности.

Сейчас я могу любое из *своих* занятий провести экспромтом, но до сих пор у меня сохранилось унаследованное от мамы обыкновение заранее составлять план. Тогда и экспромты оказываются качественнее.

В пионерских лагерях, когда отец оказался совсем в другом лагере, я был помощником вожатого в её отрядах, а потом работал и самостоятельно (даже не вожатым, а воспитателем). Но время от времени мы с ней проводили вдвоём наш «педсовет», чтобы решить мои воспитательские проблемы.

Поучительным для меня было и мамино обращение с нами – тремя сыновьями. Это было замечательное сочетание заботы (насколько позволяла её учительская загруженность) и свободы – делать то, что тебе интересно, поступать самостоятельно. Бавыкинский опыт, когда она была уже бабушкой, воспитывающей многочисленных внуков (наших детей), был уже немного другим. Теперь я смотрел на всё из иного, родительского возраста и сам принимал активное участие в происходившем. Да ещё в Бавыкино был рядом отец, со своим особым вкладом во всё это происходившее.

Мама не столько научила, сколько заразила меня готовностью учиться. Оставшись без диплома, она много лет считалась учительницей с неполным высшим образованием, что существенно уменьшало зарплату. Оказавшись одна с детьми, она пошла снова в институт²⁴, на третий курс вечернего отделения. И с каким аппетитом училась, закончив его на отлично!..

Позже, когда мама перешла из сороковой школы²⁵ в другую, она тратила на поездку туда и обратно по часу. Сначала она просто читала, а потом стала изучать французский язык и овладела им за два года (только в этих поездках). Настолько, что могла заменять учителей французского языка, а не только английского, как прежде.

Будучи совершенно городским человеком, она, переехав в Бавыкино, вынуждена была заниматься садом и огородом. Отец обладал в этом отношении практическими знаниями. Она училась у него, но одновременно штудировала книги и журналы на эту тему. Скоро к ней за огородными советами стали обращаться многие жители деревни, даже коренные.

Верность и смирение – вот чему я учусь у мамы сейчас, вглядываясь в её судьбу. Судьбу, далекую по внешним признакам от христианства, но снова и снова обучающую меня этим христианским добродетелям.

Верность и смирение помогали ей следовать всем зигзагам судьбы мужа. Бывало, что он даже не говорил ей о причинах, по которым они меняют работу и место жительства.

Верность и смирение позволили ей не просто пережить семнадцатилетнюю разлуку, но хлопотать о каждой дозволенной посылке, использовать всякое дозволенное свидание. Маме было меньше сорока, когда отца арестовали. Гэбэшники уговаривали её развестись по облегчённой процедуре, некоторые знакомые мужчины предлагали ей руку и сердце, но для неё даже мысль об этом была недопустима.

Когда отец вернулся из заключения и ему не дали жить в Москве, она поехала за ним в крошечную деревушку и стала из горожанки – старательной сельской жительницей.

²⁴ Московский государственный заочный педагогический институт. Она закончила его с отличием в 1964 году.

²⁵ Средняя общеобразовательная школа №40, находилась в Тёплом переулке (позже улица Тимура Фрунзе).

Но она была предана не только мужу. Мама разрывалась между Москвой и Бавыкино, ухаживая за своим больным отцом – дедушкой Лазарем. Только когда его не стало, она осела в Бавыкино.

С любовью и терпимостью относилась она и к нам, своим выросшим сыновьям (у каждого из которых было в судьбе всякое), и к внукам. Да и ко всем, ко всей жизни, относилась по-христиански.

Время и окружение не побуждали её к вере. Вот только странная привычка была у мамы в последние годы. Засеет грядку и обязательно перекрестит её. Рассказывала об этом и сама удивлялась: почему так?.. Но её жизнь представляется мне, по сути, более христианской, чем моя собственная.

Забота и свобода

Главное, чему учат ребёнка родители, – это своему отношению к жизни. Вырастая, каждый сам решает, что делать с этим знанием: укоренить его в себе или опровергнуть.

Но, кроме этого, родители многому учат (или дают возможность учиться) самим сочетанием своей заботы о ребёнке и той свободы, которую они позволяют ему осваивать.

Сочетание заботы и свободы – необходимая основа всякого воспитания, задумывается об этом воспитатель или нет.

Одни целиком сосредотачиваются на заботе, и психологи качают головой: «Гиперопека!.. Инстинкт наездки!..»

Другие разрешают ребёнку всё или вообще не задумываются о заботе: «Попадает, попадает ребёнок, да и вырастет», – как гласит пословица.

Третьи стараются овладеть высоким искусством сочетания этих двух начал. Если удаётся, их детям повезло.

Грустно говорить о детях, которым не досталось ни того, ни другого. Но бывает и так: вместо заботы – равнодушие, а вместо свободы – насилие.

Позже, став взрослым, оказавшись родителем, ты заботишься уже о том, чтобы совместить заботу и свободу по отношению к собственным детям. Ох, как это нелегко!.. Недодать заботы – и увеличиваются риски, пригашаются сердечные отношения. Недодать свободы – и уменьшаются возможности развития личности, снижается равноправие дружбы с ребёнком.

Может быть, и вся жизнь человека колеблется между заботой судьбы о нём и свободой, которую судьба ему предоставляет?

Трудно судить об этом, но нет смысла печалиться о том, что Провидение недостаточно опекает тебя, лучше радоваться свободе и строить жизнь самому. Не стоит сетовать на ограничения, которые у тебя возникли, лучше почувствовать за ними заботливую помощь, необходимую, чтобы что-то увидеть и понять.

Для меня сейчас это приобрело особую значительность. Стараюсь глубже ощущать настоящее и разбираться, по мере сил, в прошлом.

Начало восстановления

Когда мне было совсем плохо после нового инсульта, в больнице, я это не воспринимал как критическое состояние. Во всяком случае, Машеньке досталось куда больше пережива-

ний. Я скорее удивлялся (и даже возмущался), что мне нельзя вставать, что нельзя поработать на ноутбуке.

Пришлось, однако, пройти через многие ступени беспомощности. Даже самому повернуться на другой бок не сразу стало получаться. Хорошо, что Машенька не только была рядом, но и чутко реагировала на всё, даже на мои движения во сне.

Приезжали дети и друзья, передавали приветы и пожелания, которые меня витаминизировали. Но и кроме этого чувствовалась поддержка, идущая отовсюду, – молитвами, дружбой, деньгами...

Меня возили на обследования и консультации – там я ощущал ту медицинскую заинтересованность, которая почти отсутствовала в моей больнице. Иногда это проплачивалось, но самую главную врачебную поддержку я получал от тех, кто делал это бескорыстно, потому что это были друзья друзей.

Порою Антон отпускал Машеньку домой по разным надобностям, дневал и ночевал со мной – и тоже, хотя более спокойно, но стойко препятствовал моим безрассудствам.

Эта книга, начатая перед первым инсультом, уже меня не оставляла, и Машенька стала записывать надиктованные мной фрагменты, а Антон вводил их в ноутбук, который всё-таки привезли в больницу. Понемножку стали давать его и мне. Писал я и на бумаге, но понимать написанное даже день спустя – затруднялся.

...А потом мы вернулись домой. Антон приколотил тут и там ручки для хватания и заказал по Интернету клюшку на четырёх ножках. Клюшка стояла сама, не падая и позволяя крепко опереться на неё. Вскоре к нам стала приезжать молодая и энергичная Ирина Михайловна, специалист по послеинсультной реабилитации, и мы успокоились: за дело взялся настоящий врач. Она знала про все новые лекарства, владела массажем и иглоукалыванием, подбирала лечебные упражнения, а главное – заряжала оптимизмом.

Тем временем я стал понемногу осознавать масштабы происшествия. Стал понимать, что часть моей реабилитации состоит в том, чтобы понемногу писать эту книгу. Ведь восстановление может занять не один год. Да и вся последующая жизнь – сколько бы её ни осталось – теперь должна быть какой-то другой. Какой?.. – это мне и предстояло понять. Для этого тоже необходимо было взглянуть в прошлое.

Всё это время, после случившегося, мне подарено, вымолено, спасено. Могу ли я не относиться к нему бережно, с благоговением?

Ведь там, в Луче встречающем, меня ждёт новое восстановление, к которому можно готовиться уже сейчас.

К обновлённой жизни

Не сразу я оценил все благодатные достоинства нового этапа судьбы, но довольно быстро вжился в него. Врачебный запрет на работу для заработка означал невероятную свободу для работы по призванию. Бессрочная инвалидность побуждала к ежедневным усилиям по укреплению физического состояния и душевной бодрости. А мои творческие члены семьи, с которыми я теперь был рядом, без надобности ходить на работу или ездить по делам, постоянно подпитывали меня вдохновляющей энергией. Благодаря всему этому, я смог войти в работу над этой книгой по-настоящему – глубже, чем ожидал.

Мне хотелось быть внимательным и к событиям, которые оказались для меня значительными, и к мелким, но символическим подробностям жизни. А главное – найти для их описания такие ракурсы, чтобы повествование пригодились и мне самому, для осмысления прожитого, и читателю, обладающему собственным, совершенно иным опытом, собственными

интересами, но испытывающему потребность, как и я, как и все мы, в сопоставлении своего и чужого.

Поэтому время и силы, необходимые для работы над этой книгой, оказались куда объёмнее, чем это выглядело поначалу. Так оно обычно и бывает, но здесь к тому же не было возможности что-то ускорить. Нельзя писать быстрее, чем думаешь и переживаешь. Быстрее, чем разглядишь каждое событие с разных углов зрения и выберешь наиболее важное.

Вспоминаю голубую ель у больничного окна. Может быть, и не заметил бы её вообще, если бы не Ксюша, присмотревшая её для нашего Нового года. Сколько времени понадобилось мне, чтобы рассмотреть этот сигнальный знак – уже не глазами, а памятью. Этот знак обновления жизни, эту зелёную стрелу, покрытую голубоватой изморозью, неподвижно летящую от земной обыденности к моему окну – и дальше, к небу, словно обозначая промежуточное состояние души и тела...

Каждый предмет, каждое явление имеет множество ракурсов – их, вообще говоря, бесконечное количество, и перебрать их невозможно. Так же, как невозможно написать исчерпывающие воспоминания.

Но присмотреться к разворотам прожитого и рассказать о тех из них, которые кажутся значительнее прочих, вполне осуществимо. Особенно если судьба освободила тебя для этого от некоторых других потребностей.

Получилось, что прологом к воспоминаниям стала целая глава...

А может, вся эта книга – лишь пролог?..

Глава 2. На Клинической улице (1946—1957)

Детство – наша загадочная, затонувшая во времени Атлантида... Какие тайны хранит оно? Что здесь доступно нашему вниманию через многие десятилетия, прошедшие после этих особых нескольких лет?..

Умиляться собственному детству меня не тянет. Но когда вглядываешься в течение жизни, его истоки магнетизируют. Может быть, здесь располагается заповедник особых метафор, и они нашепчут что-то важное о том, с чем привычно сжился, что стало твоим натуральным свойством. О возможностях, которые осуществились, и о тех, которые уступили им дорогу.

Меня всегда интересовало детство своих детей и тех, которые оказывались рядом или в поле зрения, а собственное – по сравнению с ярким фонтанирующим разнообразием детских характеров – казалось обыденным и невыразительным. Сейчас, когда моей задачей стало свидетельство о том конкретном ребёнке, с которым мы находимся на разных этапах одной судьбы, многое видится куда глубже, чем когда вспоминаешь о своём детстве вскользь.

Странствия детства

Родился я не на московской Клинической улице. И вообще не в Москве.

После войны, когда отца демобилизовали (это произошло не сразу), мои родители отправились работать педагогами в город Энгельс²⁶. Там я и родился 29 октября 1946 года. В роддоме дежурил главврач, его руки и встретили меня на входе в земную жизнь.

Главврача звали Абрам Григорьевич Кассиль. Может быть, то, что это был отец писателя Льва Кассиля, было намёком на литературное будущее?.. Но тогда не менее весомым оказался и намёк на журналистику: когда меня первый раз показывали в окно папе, стоявшему на улице, то завернули в старые газеты, поскольку пелёнок в послевоенном роддоме не хватало. Об этом мне рассказала мама. Остаётся надеяться, что я милосердно обошёлся со своим парадным нарядом.

На своей «малой родине» я прожил недолго. Через год родителей выжили из энгельского детдома, и мы отправились в другой, а потом в следующий... Бородаевка²⁷, Чкаловская²⁸, Беззубово²⁹, Ильинское³⁰... Изредка мама возила меня в Москву, так что и столица значилась среди опорных пунктов моего детства. Хотя до пяти лет я был для неё человеком приездом.

Но разъезды не кончились и потом – ведь каждое лето родители ездили работать в пионерские лагеря, их тоже было немало. Купавна³¹, Гагат³², Дорохово³³, Лопасня³⁴...

Так что с раннего детства я привык к путешествиям.

²⁶ Энгельс: бывший город Покровск, а до этого – Покровская слобода. Здесь разворачивались события книги Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Находится в Саратовской области, напротив Саратова, на другом берегу Волги.

²⁷ Бородаевка: бывшая немецкая колония Боаро, недалеко от города Маркс, Саратовская область.

²⁸ Чкаловская: железнодорожная станция с рабочим посёлком, позже вошедшим в городскую черту города Щёлков Московской области.

²⁹ Деревня в нескольких километрах от города Егорьевска Московской области.

³⁰ Посёлок возле одноименной железнодорожной платформы в Раменском районе Московской области.

³¹ Дачный посёлок в Ногинском районе Московской области.

³² Садовое товарищество возле деревни Микишкино в Дмитровском районе Московской области.

³³ Посёлок в Рузском районе Московской области.

³⁴ Река, станция, посёлок в Чеховском районе Московской области.

Вот только много ли остаётся у человека от этого периода жизни, когда ещё не ведёшь дорожных записей?.. Память, если и сохраняет что-то до взрослых лет, выдаёт сознанию лишь скудные случайные обрывки впечатлений. И всё-таки – да, у меня много чего осталось от этих странствий.

Это даже не из сферы памяти. Это из истории становления. Много говорит мне о том, что эти первые несколько лет оказались чрезвычайно благотворны для развития, благодаря перемене мест и условий жизни, разнообразию окружения, калейдоскопу ситуаций.

Читая сейчас книги Гленна Домана о том, как жадно детский мозг впитывает обильные потоки информации, как важен для ребёнка простор движений и пониманий, я думаю, что судьба сделала для меня то, что нельзя было бы организовать специально.

Некоторые любопытные подказки я обнаружил и в тетрадке, которую подарила мне мама на день рождения. Мне тогда исполнилось сорок девять лет. Но сначала я расскажу о нескольких собственных вспышках памяти, о самых ранних кадрах, сохранённых ею.

Что и зачем запоминается?

То, что я пишу, – не автобиография. Хочется оставить воспоминания о том, что кажется наиболее интересным из прожитого. Но в первую очередь – перебрать прожитое с пристрастием. Взглянуть на него в свете Луча встречающего: в чём главный смысл, где узловые точки и точки?..

Прежде всего, важна опора на собственную память, с её особой достоверностью – расплывчатой, фрагментарной, но сохранившейся в душе как переживание.

Первые годы жизни – загадочная пора, которую живёшь однажды, но всю жизнь переживаешь снова и снова. Возможно ли отделить сами воспоминания детства от того, что узнал о нём позже? Что и зачем хранит наша память? Что и почему она теряет? Наверное, об этом могут рассказать психологи, но по-настоящему глубокий взгляд в детство чаще встречается у писателей. Наверное, умение прочувствовать свой единичный опыт здесь важнее, чем обобщающая теория. Вот и я обращаюсь к своему единичному опыту.

Каждое из ранних воспоминаний существует в памяти само по себе, без оценки, без сопоставления и даже без особой связи с другими воспоминаниями. Просто: это было. Акценты расставляет сегодняшнее сознание. Но и сам факт сохранения в памяти – тоже своего рода оценка или, точнее, знак привлечения внимания, знак скрытого сравнения. Сравнения со всеми прочими подробностями, не удержавшимися, опавшими, отпавшими...

Иногда кажется, что каждое запомнившееся событие раннего детства, сколь незначительно ни было бы оно в событийном плане, – это особая притча, взятая памятью в дорогу по жизни. Сама незначительность прочно запомнившегося события словно подчёркивает его внутренний смысл, не позволяя переоценивать его сюжетное достоинство. Может быть, эти воспоминания – маленькие инструменты становления. Может быть, многие из них уже сделали свою работу и растворились в глубинах памяти, а вот оставшиеся ещё чему-то должны научить, о чём-то дорассказать, что-то подсказать. И потому приходится вникать в них, чтобы при их неярком свете разглядеть, наконец, то, что нужно разглядеть...

Ранние кадры

Одно из самых милых мне воспоминаний – это поле подсолнухов. Бесконечное, как и весь окружающий мир вокруг домика, где мы тогда жили. Сейчас кажется, что дом прямо и выходил в поле подсолнухов, в эту вселенную громадных золотых цветов, среди которых можно было бродить, в тени которых можно было спрятаться от всех на свете. Впрочем, не помню уже,

прятался ли я там от кого-нибудь и в какие игры играл в подсолнечном мире. Помню только, что собирал подсолнуховые семечки, отбирал самые крупные, самые чёрные из них и хранил их в спичечной коробке. Наверное, хотел что-то сохранить от цветущего изобилия.

Три или четыре года мне было?.. Где мы тогда жили?.. Не могу сказать. Но память о подсолнечном поле вспыхивала в моей жизни ещё не раз.

Четверть века спустя, в 1972 году, Машенька подарила мне на день рождения букет белых хризантем. Они стояли у меня на столе очень долго – сначала в воде, потом без воды, потемнели и высохли. И когда однажды я вдохнул запах этих сухих цветов, он показался мне удивительно знакомым, хотя понять, о чём он напоминает, никак не удавалось. Несколько дней ходил я сам не свой. И вспомнил! Это был запах подсолнуха. Запах золотой беспредельности детства...

А вот не самое радостное, зато самое поучительное из ранних воспоминаний. Оно интересно для меня своей отчётливостью. Помню место действия настолько, что как-то даже нарисовал маме, которая сомневалась, не по её ли рассказам запомнился мне этот эпизод, план нашей комнаты: стол, печка, дверь, окно и мой стульчик у печки, где я сидел, отбывая наказание. Всё было точно.

Мы жили в обычном деревенском домике. В нашу комнату вёл отдельный вход, перед которым отец выращивал зелень и овощи. В этот вечер он принес в дом пучок зелёного лука и стал показывать мне, как мастерить свистульки. Что-то там надо было сделать с пёрышком лука, чтобы оно засвистело, не помню, что именно, но для этого нужны были самые крупные, самые крепкие и упругие луковичные трубочки. Это было главным – возникло представление о ценности. Его не было за полчаса до этого, оно исчезло в этот же вечер, но на какое-то время появилась безусловная, желанная, абсолютная ценность: большие крепкие перья лука, из которых выходят самые лучшие свистульки.

На мне были новые голубые войлочные сапожки, редкая для послевоенного времени обновка. Родители запрещали выходить в них на наш грязный двор. В этот вечер моросил дождь, и о том, чтобы я выбрался сам поискать перышки лука для свистулек (самые ценные, самые крупные, самые желанные!) нечего было и думать. И всё же я это сделал —влечение было необоримо. Родители за мной не уследили, но после того, как я выложил на стол самое крупное и крепкое перо лука, обратили на меня удивлённое внимание.

Не помню слов, как и других звуков раннего детства. Помню смысл своей жалкой попытки обмана – мол, подобрал в сених, а вовсе не сорвал на грядке. Но грязные сапожки были честнее меня, и разоблачение не заставило себя ждать... Последнее, что помню, – это белый цвет печной стенки, возле которой я должен был сидеть какое-то время на своём стульчике, и сидел молча, в тихой отрешённости. Не было ни обиды, ни досады на наказание. Запомнилось лишь смутное ощущение внутреннего беспокойства. Когда-нибудь, десятилетия спустя, я пойму, что это первое воспоминание о пережитом стыде.

Горькое (в самом буквальном смысле) воспоминание относится к четырёхлетнему или пятилетнему возрасту. Отец выращивал возле дома помидоры и раскладывал, чтобы дозрели, на подоконнике. И вот я выбрал из них самый красивый, самый аппетитный и, предвкушая блаженство, надкусил его... Он оказался горьким! Самого вкуса я не помню. Помню лишь контраст между ожиданием удовольствия и этим внезапным разочарованием. После этого я не ел помидоры лет десять, если не больше. Так что ошеломлён был не на шутку.

Помню запах дозревающих помидоров – и до сих пор узнаю его в помидорной листве. Помню залитый солнцем подоконник, зеленоватые, розоватые и красноватые помидоры – и пронзительную горькую неожиданность. Что ж, может быть, такая неожиданность, в том или в другом виде, была в детстве у каждого?..

Впечатляли явления старьёвщика – странного человека с тележкой, готового обменять совершенно никчемную ветошь, сунутую мне в руки родителями, на новенькую глиняную свистульку или на какую-нибудь другую чудесную вещь, при виде которой всё тело наполнялось восторгом. Ведь обмен – ничего на что-то – был невероятной удачей!..

Пару раз и в Москве забредал к нам во двор старьёвщик, но того восторга уже не было.

Но самыми памятными – физически – оказались два случая, оставившие навсегда отметины: неприметные шрамы на лице.

Один раз, когда я упал в темноте и впечатался в металлическую решётку для очистки обуви, это была рассечённая до зубов губа, которую мама сумела так обработать и забинтовать, что она срослась без всякого накладывания швов. Не зря она в военные годы училась на медицинских курсах.

Второй раз я смотрел, как ребята постарше играли в лапту. Саму игру не помню, но созерцание её, наверное, настолько меня увлекло, что я оказался слишком близко к подающему. Тот даже остерёг меня. Но то ли я не отошёл, то ли отошёл недостаточно, только сразу же после этого предостережения последовала подача, на излёте которой бита (длинная узкая доска с выструганной ручкой) угодила мне в лицо... Запомнилась и то, что предшествовало удару: предупреждение, размах игрока... Боль не помню, только красную пелену, которая заволочла взгляд. Меня несут к маме, а вокруг всё в красной пелене... Но мама и тут оказалась спасительным для меня медиком.

Из тетрадки по названию «Я»³⁵

Это обычная ученическая тетрадка, в которой мама пунктирно описывает эпизоды моей детской, даже младенческой жизни – моими глазами. Таким остранением³⁶ она как бы протянула мне эстафетную палочку, чтобы я мог самостоятельно взглядываться в своё детство, которого уже не помнил.

Даже жалко иногда, что я не мог сознательно воспринять и запомнить некоторые сцены, в которых фигурировал младенцем. Например, когда меня в новогодний вечер принесли в девчачью палату Беззубовского детдома, а потом туда прибежал Дед Мороз при полном параде. Расстегнув красный халат и отодвинув ватную бороду, он (она, моя мама) принялся кормить меня грудью. Так что некоторое время встреча нового 1947 года проходила без этой ключевой фигуры. И без группы девочек, которые столпились вокруг, смеялись и восторженно кричали: «Дед Мороз! Дед Мороз кормит грудью!..»

Один эпизод до сих пор погружает меня в размышления. Медитативная такая страничка детской жизни...

В одном из домиков, где мы жили, было очень холодно. Там не было ни торфа, ни сланца, которым обычно топили печку родители в других местах. Топили ворохами сухого бурьяна. От него становилась тёплой только печка, в которую был вмурован большой котёл с насыпанным на дне песком. Родителям приходилось на несколько часов уходить в детдом, и меня оставляли в этом котле, где дольше всего сохранялось тепло и откуда я не мог вылезти. Кроме меня, в котёл загружали кучку пластмассовых игрушек и хлебные корочки, которые я любил сосать.

³⁵ Тетрадка по названию «Я»: подарена мне мамой 29.10.95, за год до её ухода. Позже вошла в её книгу «Бавыкинский дневник» (М., 1998).

³⁶ Остранение: литературный приём, состоящий во взгляде на окружающее с точки зрения другого существа, реального или воображаемого.

Не в этом ли котле формировалась моя привычка к самопогружённости, каким-то странным образом вписанная в довольно экстравертный характер?..

Закончилась притча о котле тем, что я однажды, выбросив наружу все игрушки, сумел и сам выбраться на край котла и печки. Ринулся бы я вниз?.. Это осталось неизвестным, поскольку в решающий момент вошла мама и... Больше меня в котёл не сажали.

Летом мама часто брала меня в детдом, где была воспитателем, организатором досуга. Пока она воспитывала и организовывала, детдомовские девчата то сажали меня в подушки, окружая игрушками, то тормозили. Часто меня вытаскивали во двор, где я ползал по дорожкам и по траве, иногда забирался в клумбу, но уже знал, что рвать цветы нельзя, можно нюхать и гладить. Девочки показывали на цветы и нравоучительно поясняли:

– Вот, это твой папа посадил.

Впрочем, летом хорошо было ползать и по комнате, пол уже не был холодным. К тому же иногда удавалось отыскать затерявшуюся раньше корочку хлеба.

Свой первый фильм в жизни я проспал на руках у родителей, в тёплом одеяле. Проснулся уже дома. И папа с сочувствием произнёс:

– Ну, Витюша, ты сегодня первый раз побывал в кино. Жаль, что глупый и не понял, какой прекрасный был фильм. Запомни, это – «Золушка»³⁷. Подрастёшь, обязательно посмотришь.

А первым фильмом, который мне реально запомнился, хоть и смутно, был «Тарзан»³⁸. Крутили его в сельском клубе, битком набитом шумной публикой. Тарзан, летящий на лиане с дерева на дерево... Крокодилы с разинутыми пастьями... Люди в белых шлемах... Большая обезьяна в одежде, её звали Чита; чем-то она завоевала мою симпатию... Но этот фильм никогда мне не хотелось посмотреть снова: слишком детским осталось это впечатление...

Когда в детдоме началась чесотка, всех здоровых детей вывезли «на подсобное хозяйство», где все спали в бывшем овощехранилище, на расстеленной по полу соломе. Здесь я впервые сидел... на корове. Сидел вполне надёжно: папа крепко держал меня, когда посадил между коровьих рогов и сказал:

– Держись за них и не бойся.

Впрочем, мама пишет, что боялась она, а не я. Наверное, я ещё не умел...

Нет, умел. Испугался я, когда ползал во дворе детдома, возле цветов, а ко мне вдруг подошёл мальчик, надевший на голову чёрный накомарник с сеткой, протянул ко мне руки и зарычал страшным голосом. Испугался так, что перестал говорить даже те немногие слова, которыми овладел к тому времени.

Однажды мы ездили в Москву втроём – в гости к дедушке с бабушкой. В поезде играли в игру. Папа спрашивал:

– А чей это прекрасный лес виден там, далеко?

– Это лес майкиза Кайабаса-Байабаса, – отвечал я, в меру своих произносительных возможностей.

– А чьи это люди косят траву на лугу?

– Это люди майкиза Кайабаса-Байабаса...

И так далее.

³⁷ Кинофильм 1947 года.

³⁸ Видимо, фильм 1934 года «Тарзан и его подруга».

Проблема с буквой «р» у меня решилась во сне. Мне приснилась ворона, которая каркала на меня так, что я возмутился и тоже на неё каркнул. Вернее, крикнул: «Кар-р-р», и у меня получился настоящее «р-р-р». Проснувшись, я поспешил рассказать сон родителям, и в конце рассказа у меня и наяву получилось звучное «р-р-р». Мама с папой обрадовались и всё просили меня говорить: кар-р-р, бар-р-ран, пор-р-ра. Весёлое было утро.

Так вспоминает мама. А сам я помню лишь сцену своего торжества при демонстрации нового умения, но сон совершенно забылся.

Много времени я проводил среди детдомовцев. Когда мне было четыре года с небольшим, я вился около групп, с которыми мама занималась подготовкой школьных заданий и просто их развитием. Подглядывал сбоку в букварь – поэтому слова казались мне столбиками из букв, лежащих на боку. Столбики постепенно запоминались, и дома я выкладывал их из кубиков с буквами. Но родители меня поправили, и скоро я перешёл к складыванию слов горизонтально. Следующим этапом было внимание к газете, которую папа читал за ужином. По ней я и научился окончательно читать – бойко, но... вверх ногами. Впрочем, и этот навык быстро нормализовался, так что в четыре с половиной года мне открылся мир книг.

Иногда меня брали на колхозные работы, в которых участвовали детдомовцы. С аппетитом участвовал я в выдёргивании сурепки³⁹, которая была выше меня ростом, но это не запомнилось. Зато запомнился дурманящий запах хмеля, стены из увитых им столбов на поле. Мне дали ведёрко, и я обрывал в него мягкие шишечки, пока у меня не закружилась голова так, что я потерял сознание. Папа унёс меня от хмельных стен и уложил под деревом, где я пришёл в себя от того, что он брызгал мне водой в лицо...

Последние месяцы перед окончательным переездом в Москву я уже был старшим братом: мама вернулась в детдом с грудным Лёничкой⁴⁰. Моей важной ролью было греметь ему погремушкой, чтобы он не плакал, подавать пелёнки, когда мама его заворачивала, и следить за ним, когда мама переключалась на детдомовских ребят.

Впрочем, бывали задания и посложней – например, сходить рано утром на другой конец деревни за молоком для братика. Один раз на меня по дороге напал гусь. Я шарахнулся от него, споткнулся и выронил бидончик, разлив всё молоко. В этот день братику было голоднее обычного, но мама меня не ругала.

Заканчивается эта мамина тетрадь периодом, который мне уже тоже смутно помнится. Конец лета 1951 года, когда родителям пришлось покинуть Беззубово. Мама уехала с Лёней в Москву, а отец рисовал плакаты для фабричного клуба в селе Ильинское. Прямо в клубе мы с ним и жили, отгородившись от остального пространства ширмой, которую он сам сделал. Папа варил вермишель или макароны на примусе, иногда открывал стеклянную банку с соевыми бобами – невкусными, но утоляющими голод. Этим мы и питались. Папа спал на кровати, а я на верстаке, пока однажды не свалился с него во сне. После этого спали вместе. Книг зато было много, в них-то я и жил.

Мама приехала нас навестить и всплеснула руками, увидев кастрюли с засохшими остатками вермишели и банки от соевых бобов. Сказала, что нам тоже надо уезжать в Москву. Меня она увезла сразу, а потом приехал и папа. Так мы стали жить на Клинической улице. У бабушки с бабушкой там были две комнаты в коммунальной квартире, одну они уступили нам.

³⁹ Травянистое растение с жёлтыми цветами.

⁴⁰ Мой средний брат.

Топографический миф

Мы жили по адресу Клиническая улица, дом два. Но достаточно взять «Атлас Москвы», чтобы уличить меня: что-то здесь не так. Клиническая была переименована в улицу Еланского, на которой под номером два числится храм Архангела Михаила⁴¹. Что за выдумки у автора?..

Скажу больше, я всегда считал, что Клиническая улица – вовсе не тот короткий огрызок, который в атласе примыкает к Плющихе⁴², а длинная улица, начинавшаяся от нашего дома. Она идёт между двумя рядами медицинских учреждений. Кому же, как не ей, быть Клинической?.. Но на картах у неё вовсе нет названия, хотя она в несколько раз длиннее улицы Еланского.

Получается, будто я жил в каком-то историко-топографическом мифе. Надо немного прояснить эту ситуацию.

Храм восстановили в послесоветские годы. После этого возник вопрос, какой дать ему адресный номер. Тот изувеченный корпус-склад, в который превратила его советская власть, домом не считали, так что он обходился без номера. К этому времени дом, где мы жили, уже был снесён. Вот бывший номер нашего дома и достался храму – или вернулся к нему.

Оказывается, Клиническая улица моего воображения на самом деле всегда была безымянной. Но для меня она так и осталась единственной настоящей Клинической улицей. Так что я предлагаю узаконить её под этим названием – длинную безымянную улицу, идущую между клиниками, даже если на ней не числится ни одного жилого дома. Один был, да и тот снесли... .

Как бы уговорить чиновников?.. Зря имя улицы пропадает. И она без него не такая выразительная.

Так или иначе, адрес «Клиническая, дом 2» был нашей реальностью, и жили мы вовсе не в храме. Впрочем, к храму наш дом всё-таки имел прямое отношение, хотя тогда я этого не знал.

Бывшая богадельня

Наш двухэтажный дом был когда-то богадельней при храме. Он имел какую-то несоветскую конфигурацию. Нижний этаж был каменный, верхний – деревянный. Наша входная дверь со двора открывалась на широкую мраморную лестницу, которая когда-то была главной, парадной. Она вела сразу на второй этаж, по бокам были перила, к которым мы привязывали велосипеды. Белые, слегка желтоватые ступени были несколько стёрты посередине. Я их хорошо знал, поскольку время от времени подметал и мыл эту лестницу.

Внизу, у входной двери, стояла коляска нашего младшего – Максимчика. В неё (а когда коляски не стало – просто на пол) сыпалась почта, которую совали в специальную щель на двери подъезда (если уж не пролезало, то почтальон звонил). Ах, как я любил спускаться за почтой! За «Крокодилом», приходившим раз в десять дней, за «Огоньком» раз в неделю,

⁴¹ Храм Архангела Михаила: его полное название имеет продолжение – «при Клиниках на Девичьем поле». Был выстроен во второй половине XIX века как главный храм Клинического городка Московского университета. В 1931 г. закрыт. В изуродованном здании храма располагался спортзал, потом аптека, позже оно использовалось как склад, затем и вовсе было заброшено, а в 1976 году ещё частично разрушено. В 1992 году возобновилось богослужение в южном приделе. Девичье поле: в XVII веке эта местность, от теперешней Zubovskoy площади до Новодевичьего монастыря, была монастырским владением. На ней были разбиты аптекарские огороды с лечебными травами. Позже здесь проходили народные гуляния, а потом началось строительство Клинического городка. Но сквер, который сохранил название Девичка, остался и до сих пор.

⁴² Улица, известная с XV века. Начинается от Смоленской площади и заканчивается перекрёстком со 2-м Тружениковым переулкам, возле дома культуры завода «Каучук».

за другими журналами и газетами, за подписными собраниями (особенно, когда приходил очередной из четырнадцати томов Джека Лондона или из шести томов Александра Грина).

Наверху, на площадке, слева была дверь (двойная, с тамбуром) в нашу коммунальную квартиру, а дверь справа, ведущую в неизвестную мне половину дома, навсегда загородили гигантским шкафом. У той половины был свой вход, со своим подъездом.

На площадке мы немного задержимся, как я задерживался нередко, будучи школьником. Здесь стоял столик на чугунных изогнутых ножках и с доской из серого мрамора, а на нём... Иногда в широкой кастрюле бабушка остужала кипячёное молоко с соблазнительной пенкой. Иногда это была кастрюля с компотом из сухофруктов, из которого могли торчать черенки груш, напрашивающихся на дегустацию. Здесь же, на холодке, хранилась после того, как её открыли, огромная жестяная банка с болгарским клубничным конфитюром... Со временем я приспособился прятать в шкафу чайную ложку, чтобы культурно отпробовать пенки или конфитюра.

Интересно, куда исчез болгарский клубничный конфитюр, в котором почти не было жидкости, одни большие сладкие клубничины? Его продавали в трёх— или пятилитровых жестяных банках. Хотя бы в Болгарии он, надеюсь, сохранился? Или и там перестали его производить, чтобы он остался только в моих детских воспоминаниях?..

За дверью с тамбуром начиналась наша коммунальная квартира. Напомню, что в коммуналках жили почти все обычные горожане того времени. Коммуналка – это многокомнатная квартира с общими для всех жильцов кухней и туалетом, а если повезёт, то и ванной. В коммуналке жили по несколько семей. В нашей, сравнительно небольшой, – всего пять.

Дедушка, ещё до войны переехав в Москву из Рязани, получил здесь как врач две комнаты. В одной жили он и бабушка. Мы впятером (родители и трое сыновей) занимали комнату рядом. Слева от входного тамбура жила акушерка Вера Ивановна, у которой долго умирал от рака муж, потом она осталась одна. Рядом с ней – семья Бельских: муж, жена и теща, все они работали в Институте дефектологии⁴³. А дальше всех по коридору, напротив кухни, жила Светлана Ефимовна Стрижнёва. Тогда она была директором передвижного музея Льва Толстого, а потом возглавила музей Маяковского на Лубянке. Светлана подарила мне первое моё Евангелие, издания 1901 года, с пометками тех, кто его усердно читал. Для советских времён это был особенно редкостный и смелый подарок.

В конце длинного общего коридора находился туалет, один на всех. Довольно неприглядный, трубы там подтекали и ржавели. Направо – кухня со столиками для каждой семьи. Половину её занимало заведение с витиеватой надписью на чугунной табличке, покрашенной масляной краской: «Ванная». Воду там грели в колонке – специальном газовом нагревателе.

Единственный в квартире умывальник был здесь, на кухне, так что здесь мы умывались и чистили зубы.

Из кухни вела тяжёлая дверь в тёмный прохладный тамбур. Слева за этой таинственной дверью, которой пользовались довольно редко, был вход в отдельную квартиру. Там жила семья Авдеевых-Калмыковых с мальчиком Толей, моим ровесником. А дверь направо выводила в интереснейший мир крошечных чуланчиков, каждым из которых владела одна из семей. Мало того! Дальше была лестница наверх, на чердак, а вниз спускалась лестница к выходу с другой стороны дома – на Погодинку⁴⁴, куда смотрели наши окна. Справа от этой двери был небольшой палисадник, а слева – дровяной сарай, который отец, при моём посильном участии,

⁴³ НИИ дефектологии АПН СССР. В 1992 году переименован в Институт коррекционной педагогики РАО.

⁴⁴ Погодинская улица, параллельная Клинической.

набивал дровами на всю зиму. Ведь каждая из семей сама следила за своей печкой, сама заботилась о топливе.

В противоположном от туалета конце коридора, возле нашей комнаты, было устроено небольшое дополнение к ней. Этот закуток, где поставили раскладушку, отгораживала от остального коридора вешалка с пальто и шубами. У изголовья раскладушки находилось маленькое окно, выходящее на лестничную площадку, за ним виднелся мраморный столик. Здесь, возле шуб, мы сидели с отцом, когда топили печь, дверца которой выходила в коридор (а её белые кафельные стенки согревали комнаты: одна дедушкину, две другие – нашу). На раскладушке я ночевал, когда появились братья. Случалось мне порою спать и в дедушкиной комнате, на диване.

Посреди дедушкиной комнаты стоял прямоугольный дубовый стол. Он раздвигался на время праздничных семейных застолий, а ещё когда мы с кузеном Борей⁴⁵ играли на нём в пинг-понг. Длина и ширина были маловаты, опасно было попасть во что-нибудь хрупкое, но и игроки из нас были не ахти какие.

Между двумя окнами располагался солидный письменный стол. На нём – монументальный чернильный прибор (мрамор и бронза), на котором распростёр крылья двуглавый орёл. Прибор был с дарственной надписью от сослуживцев, но к дедушке они отношения не имели. Он купил этот прибор, как и некоторые другие вещи, в комиссионном. Телевизор «КВН-49». Конечно, чёрно-белый. Экран размером с почтовую открытку, зато перед ним стояла выдвигающаяся увеличивающая линза, наполненная дистиллированной водой. Большой ламповый радиоприёмник, на котором можно было ловить и зарубежные станции. В правом дальнем углу, между окном и бабушкиной кроватью, стоял туалетный столик с коробочками, безделушками и трельяжным зеркалом, а возле кровати лежала настоящая медвежья шкура, на которой я малышом любил играть. Дедушкина кровать располагалась между кафельной печкой (сначала к ней была пристроена плита, но потом, с появлением газа, её ликвидировали) и холодильником «ЗиС». Вдоль левой от двери стены находились буфет, диван и книжный шкаф. Свободного места практически не оставалось.

Не удержусь немного рассказать о лежавшей на полу шкуре бурого медведя, с лапами и даже с когтями на лапах. Как я думаю сейчас, она не была очень большой, но тогда служила мне целым миром. Это был мир косматых зарослей, он обладал особым обаянием и неповторимым запахом. Сейчас мне кажется, что это был просто запах домашней пыли, но тогда!.. О, тогда это был запах таинственной страны, моей личной игры.

Населением медвежьих джунглей служили мне пуговицы. У бабушки была коробка со скопившимися за многие годы разномастными пуговицами. Я выпускал их на шкуру, и они обретали свою невероятную жизнь. Были у меня среди пуговиц свои герои и свои любимцы, но даже самые невзрачные обладали индивидуальностью. Пуговицы пробирались сквозь дебри, соперничали друг с другом, совершали подвиги, делали открытия, хотя конкретные особенности этой игры, возобновлявшейся бесчисленное количество раз, мне уже не восстановить. Даже если бы я мог вспомнить сюжеты, это было бы бесполезно – без тогдашнего внутреннего ключика к тайне игры.

Помню любимую свою пуговицу – от дедушкиного халата или пижамы: с одной стороны цвета слоновой кости, а с другой чёрную, и посреди чёрного круга сверкал драгоценнейший бриллиант. Она всегда была у меня предводителем. Помню её так хорошо, потому что до сих пор она лежит у меня среди памятных вещей, поблескивая своим крошечным гранёным стеклышком.

⁴⁵ Мой двоюродный брат Борис Пигарев, сын маминой сестры.

Наша комната была с одним окном. Перед ним стоял простенький письменный стол. Слева от двери сияла двумя белыми кафельными стенками печь, которая третьей стенкой выходила в дедушкину комнату, а четвёртой в коридор. Дальше, между печью и окном, стояла кушетка, на ней я спал до рождения Максимки. Над кушеткой висела репродукция картины Иван Крамского «Незнакомка»⁴⁶. У отца она ассоциировалась с мамой, у меня тоже. Висела в комнате ещё одна репродукция: на картине с названием «Береги сердце» почтенный врач стоял перед прекрасной мёртвой девушкой и разглядывал извлечённое из неё не убережённое сердце. Справа от входа в комнату стоял гардероб, за которым скрывалась полутораспальная родительская кровать с панцирной сеткой и с никелированными шариками на спинках. В нише, образованной двумя книжными шкафами и полкой над ними, стояла кроватка Максима, а на стене висели большие застеклённые фотографии Чехова и Горького. В честь последнего⁴⁷ как раз и называли нашего Максима. Он с некоторым облегчением избавился от этого имени, став при крещении Яковом.

Посреди комнаты стоял круглый стол, который, раздвигаясь, превращался в овальный. Висели на стенах фанерные шкафчики, выпиленные отцом, с дверками, украшенными выжиганием, расписанные масляными красками. И искусно выпиленные рамки с фотографиями.

Соседей со второй половины дома и с первого этажа я не знал. Думаю, что и взрослые с ними особенно не общались. Ну, жили какие-то старушки, дяденьки и тётеньки, ничего интересного в них не было. Так я думал тогда. Сейчас уверен, что могли быть среди них и замечательные люди. Но странно было бы ребёнку, или даже подростку, вникать в их жизнь и заводить знакомства. Даже с соседями по коммуналке мы общались мало.

А потом нас начали расселять, чтобы позже превратить дом в административное здание. Стали давать квартиры одним семьям, другим... Некоторое время (я тогда уже учился на мехмате) мне довелось жить в отдельной комнате, где до этого жила акушерка Вера Ивановна, – с большим окном, выходящим в наш пустынный двор. Потом мы переехали на Потылиху⁴⁸.

Мальчику с Клинической от писателя с Речного⁴⁹

Раньше, когда людей было значительно меньше, определяющим словом – вместо фамилии – часто становилось название местности: страны, города, острова. Да и сейчас мы иногда пользуемся этим подходом. Не только Демокрит из Абдер или Эразм Роттердамский, но и Серёжка с Малой Бронной, и Витька с Моховой⁵⁰.

Другое дело, что не всякое место органически сливается с человеком: это должно быть существенное в его судьбе место. Я сменил много адресов, но только две местности могу признать определяющими для себя. Конечно, я москвич, но просто Москвы для определения мало-вато. Вернее, многовато. Стоит сказать «Виктор из Москвы», как сразу возникнет несметная толпа викторов, претендующих на такое звание. Что поделаешь, мегаполис...

⁴⁶ Картина называется «Неизвестная», но мы почему-то привыкли называть её так.

⁴⁷ Напомню, что хотя Горького (Пешкова) звали Алексей Максимович, псевдоним его был «Максим Горький». Родители очень ценили его творчество, дома было полное собрание сочинений.

⁴⁸ Микрорайон, где наша семья жила много лет после переезда с Клинической улицы.

⁴⁹ Левобережный район Северного округа часто называют по главной местной достопримечательности, Речному вокзалу и станции метро с тем же названием.

⁵⁰ Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой: из стихотворения Евгения Винокурова, положенного на музыку Андреем Эшпаем.

Сейчас, скажем, я писатель с Речного (мы даже квартиру свою называем Речвок, от слов «Речной вокзал», недалеко от которого проживаем). Знаю, что есть и другие писатели с Речного, но пусть нас будет несколько, ничего страшного. Читатели разберутся.

В ту пору, о которой пишу, я был просто мальчиком с Клинической и ещё не знал, кто же я. До того, чтобы стать собой хотя бы начерно, было ещё далеко. Но и сейчас остаюсь не только писателем с Речного, но и мальчиком с Клинической. Для меня это по-прежнему важно.

Так что в этой книге мы встретились. Привет тебе, моё прошлое!..

Здесь мне на ум приходят всевозможные персонажи научной и ненаучной фантастики – из тех, кто встречался с самим собой в прошлом. Что я хотел бы сказать этому мальчику, если бы можно было с ним пообщаться?.. Совершенно точно знаю: ни-че-го. И от возможности встретиться решительно отказался бы. Слишком ювелирной мне кажется работа судьбы, чтобы вмешиваться в неё таким топорным образом.

Двор без подворотен

«И дом наш – улица, и мама – улица, и папа тоже – двор наш проходной». Так поёт группа «Лесоповал»⁵¹ словами Михаила Танича. Очень у многих так было. У многих, к сожалению, так выглядит детство и сейчас.

Мне повезло: у меня были настоящие родители и дом, из которого не хотелось на улицу. Впрочем, и с Клинической улицей мне повезло: на ней был только наш жилой дом (не считая небольшого деревянного дома неподалёку, наподобие избы, где тоже кто-то жил). Дальше шли клиники: под этим словом подразумевались разнообразные здания медицинского назначения. И особенно с двором повезло, не очень проходным, и, я бы сказал, не очень дворовым. В буквальном и в переносном смысле это был дом без подворотен – без местной шпаны, которая бы им заправляла. Если изредка и случались компании или одиночки, то всегда пришлые, временные, и не слишком нахальные в чужом ареале обитания.

Но был один выразительный случай. Мне очень хотелось, чтобы у меня был личный богатырский меч – из тех, что папа делал для карнавалов и для постановок в Доме пионеров. Он расстарался и вскоре подарил мне меч, сделанный специально для меня. С крепкой рукоятью, с фанерным лезвием стального цвета, в ножнах, изукрашенных фольгой, и с широкой перевязью. Может, это был мой день рождения?.. И мне вдруг ужасно захотелось выйти из дома, «себя показать», с мечом на перевязи. Мне разрешили, двор-то безопасный. Настолько безопасный, что никого там не оказалось. Кому показываться-то? Но по Клинической проходил парень, вдвое выше и старше меня. И он меня заметил.

Оценив мой вид, он уважительно, как мне показалось, сказал:

– Дай меч поглядеть.

Я вытащил меч из ножен и гордо протянул полюбоваться. Меч парню понравился, судя по тому, что он бросился с ним бежать и скоро скрылся в других дворах, за Погодинкой. Помоему, мы с отцом даже пошли туда, пробовали найти парня с мечом, но безуспешно. Сейчас это вспоминать забавно, а тогда... Трагичность смешивалась с недоумением.

Перед нашим домом располагался прямоугольный газончик, обсаженный по периметру жёлтыми акациями и несколькими тополями, с бывшей клумбой посередине. За ним, после второго ряда акаций, открывался небольшой пустырь. От улицы его отделяла ограда бывшего храма (как мне теперь понятно): кирпичные столбы, накрытые пирамидальными железными крышками, чугунная решётка с завитками. Ограда стоит и поныне, только теперь она гораздо

⁵¹ Группа, исполняющая песни Михаила Танича.

ниже. И оттого, что я вырос, и от давности лет (много раз асфальтировали тротуар с уличной стороны, повышался земляной слой с внутренней). Ограда прерывалась чугунными воротами без подворотни, обычно открытыми. Со стороны двора вдоль ограды росли старые тополя, тоже с годами как бы ставшие ниже. А от ворот начиналась, заворачивая за роддом с надписью «Приём рожениц» над входом, та самая улица, которую я всегда считал Клинической.

Жёлтые акации – это замечательно. Когда они зацветают, можно сорвать цветочек и облизать нектар с его основания. Когда зеленеют стручки, из них можно, аккуратно избавившись от зелёных горошинок, делать разноголосые дуделки: одна свистит тонко, другая басом. Жаль, что это ненадолго – подсыхая, половинки стручка скручиваются, уже не посвистишь. Когда же стручки созревают, становятся бурыми и суховатыми (но ещё не лопаются, роняя семена), зёрна акации становятся отличным материалом. Порой я коллекционировал самые красивые семена. А иногда, пока горошины ещё не совсем затвердели, делал из них, нанизывая на нитку с иголкой, бусы и браслеты, которые дарил маме и другим родственницам. Одно время зёрен акации скопилось у меня много, они наполовину заполняли широкую картонную коробку от «соломки» и служили замечательным сухим морем для плавания каких-нибудь лодочек или человечков.

Итак, если выйти из нашей двери, вправо уходила моя Клиническая. А слева – возвышалась загадочно монументальная кирпичная громада странной конфигурации, с облупившейся штукатуркой. Внутри складировали доски и другие строительные материалы, но центральный вход с высокими фигурными металлическими створами, к которому вела каменная лестница в несколько ступеней, открывался очень редко. Тогда я и не догадывался о том, что это здание бывшей церкви, хотя странными были для склада и стрельчатые оконца вверху (нижние были замурованы), и остатки барабанов, с которых были снесены купола...

Между этим строением и бывшей церковной оградой вдоль Погодинки сгрудились какие-то сараи и гаражи. Частные? Ну, что вы! У кого из частных лиц мог быть такой «ЗиС»⁵², как у шофёра дяди Коли, вовсе не похожего на владельца машины. Но он был ВОДИТЕЛЬ, и в один великий для меня день обратил внимание на мои восторженные глазки.

– Хочешь, прокачу немного? – спросил он, и даже ответа дожидаться не стал, настолько всё было понятно. – Залазь.

Мы проехали метров пятьсот по Клинической улице, но для меня это было не меньше, чем путешествие из Петербурга в Москву. Я так любил запахи нагретого капота и бензина, радужные разводы в лужах у колёс и все прочие веянья из этого волнующего автомобильного мира...

Отец рассказывал, что однажды, до демобилизации, один знакомый военврач выдал ему направление с адресом «Москва, Клиническая, 2», по которому отца беспрепятственно отпустили. Ясное дело, лечиться человек едет.

Мегаполис и патриотичность

Всегда я считал себя москвичом. Но что это значит? Что такое патриотичность по отношению к мегаполису? Есть в Москве такие места, где я вообще не бывал... Может быть, надо говорить только о приверженности к своему району, к микрорайону? Тем более что и на уровне микрорайона родные места могут быть гораздо населённое деревни, села или посёлка.

⁵² Марка и холодильника, и наиболее престижного автомобиля. Завод носил имя Сталина, потом стал заводом Лихачёва – и «зисы» превратились в «зилы».

Но нет, всё сложнее. После Клинической я жил подолгу в разных районах Москвы, был в каком-то смысле патриотом Потылихи, Фортунатовской, Щербаковской, других мест... Сейчас – пристрастен к тому, что мы называем Речным вокзалом, Речвоком. Административно это примерно муниципалитет «Левобережный», но наш Речвок одновременно и уже, и шире. То мы его сокращаем мысленно до двух домов и двух дворов, то он захватывает и Лихоборку, и Ленинградский проспект, и парк на правом берегу, и даже город Химки.

Возможно, я – москвич-космополит, да и не я один. Москва неминуемо мозаична даже для самого коренного москвича. Из тех мест, где живёшь, работаешь или гостишь, складывается ощущение этого города, дополненное всевозможными поездками по разным городским потребностям и странствиями по собственному желанию. Чем больше этих ощущений, тем более органичной становится мозаика, постепенно превращаясь в единую картину, хотя ей свойственно ещё и меняться со временем. Да, я москвич. И с Клинической, и с Речного, да и многие другие места для меня – тоже Москва. Даже иногда те, которых больше нет в прежнем виде.

Вообще-то люди и города неизбежно меняются. Места обитания мы тоже меняем. Но эти перемены не так уж велики по сравнению с теми, которые ждут нас, людей, впереди – после перехода в Тайну...

Окрестности детства

Вот ведь что любопытно. Пока я ездил с родителями по детским домам, иногда приезжая (опять-таки не сам) в Москву, то есть немало путешествовал, мир сводился для меня к тому пятачку, где я находился в данный момент. И только поселившись окончательно на Клинической, я стал понемногу расширять границы реального мира, в котором жил. Отчасти это был вопрос возраста, отчасти – постоянного пристанища, места, куда возвращаешься.

Наши окна выходили на неширокую Погодинскую улицу, Погодинку. По ней я ходил в свою первую школу. За Погодинкой лежали обычные дворы – проходные, полные своих компаний и своей шпаны. Расположенная неподалёку школа №51 имела не очень хорошую репутацию.

Выйдя из нашего двора в другую сторону от Погодинки и перейдя теперешнюю улицу Еланского, можно попасть на Девичку (её полное обозначение «Парк Девичьего Поля»). Направо парк заканчивается памятником детскому врачу Нилу Филатову. Мне было лет десять, когда его поставили. Прямо – проход на Большую Пироговскую, действительно, самую большую из окрестных улиц. Влево – самая привлекательная часть Девички. С двумя памятниками Льву Толстому, со старым фонтаном, который на моей памяти уже и не работал, с круглой клумбой в центре, становившейся зимой такой замечательной, всесторонней горкой. Вокруг клумбы стояли лавочки. Рядом располагались читальня⁵³ и игровой павильон, где парковые отдыхающие брали напрокат шашки, шахматы и домино. Ещё в глубине парка было мрачное здание общественного туалета – в таком, наверное, били Варенуху у Булгакова. А у самого выхода в сторону Зубовской площади торговал мороженщик. Круглым длинным половничком он накладывал в вафельные стаканчики шарики; наполненных стаканчиков тогда ещё не делали.

⁵³ Павильон, в котором можно было взять книги, газеты и журналы, чтобы почитать неподалёку на скамейке.

Вдоль Девички, между ней и Академией Фрунзе⁵⁴, ходили трамваи, заворачивая на Плющиху. Номера их маршрута обозначались разноцветными фонарями над кабиной водителя: каждый цвет соответствовал определённой цифре. Двери открывались вручную (а часто вовсе не закрывались).

Академия Фрунзе ценилась в нашей семье за парапет вдоль фасада. Высота парапета постепенно нарастала слева направо. На нём, немного в глубине, возвышались полукруглые черные колонны, за которыми можно было прятаться. Мои младшие братья и я бегали по парапету с восторгом. И надо же – никто нам в этом не препятствовал! Даже не припомню какую-либо охрану. Наверное, считалось, что высшие командиры сами за себя постоят. А терроризма тогда не было.

К нашему двору, обнесённому оградой (старинной, церковной), примыкает небольшая площадь (вернее, просто трёхсторонний перекрёсток, но у детства другие масштабы), от которой вверх уходит Плющиха. На площадь выходит клуб завода «Каучук» («Клуб Каучук», как мы его называли), творение знаменитого конструктивиста Мельникова, о чём я узнал намного позже. Вдоль Плющихи, за забором, от клуба тянется длинная оранжерея. А через несколько домов, напротив Академии Фрунзе, жила Мария Андреевна Гаевская, мамина наставница, потом коллега и просто друг. Она обитала в какой-то пристройке на первом (или единственном) этаже. Всегда радостно принимала нас, поила чаем с вареньем, расспрашивала про жизнь. Выше по Плющихе, на другой стороне, стоит серое здание школы №34, где когда-то работала бабушка.

А дальше – вправо от Плющихи – Неопалимовский переулочек, он вёл к Дому пионеров тогдашнего Фрунзенского района, располагавшемуся на перекрёстке с Земледельческим переулком.

Случалось и так, что старушка-Плющиха временно преображалась: надевала дореволюционные вывески. Мы не удивлялись: значит, опять снимают кино.

Если идти в другую сторону от родного двора, то и Клиническая, и Погодинка, и Большая Пироговская уходят туда, где начинаются подступы к Новодевичьему монастырю, к пруду с лебедями. Дальше, за Новодевичьим, начинались Лужники. На больших площадках перед стадионом мы ездили на велосипедах, да и многое другое там происходило: учебная езда на автомобиле, подготовка к спортивному параду и прочее. Сейчас эти площадки растворились в более поздних городских реалиях.

Но что-то далеко я уже забрался, вернусь поближе к дому. В конце Погодинки стоит школа №35, первая моя школа. Ниже, к набережной – клуб фабрики Свердлова, здесь мы часто смотрели кино. Обычно чёрно-белое, но уже появлялись и цветные фильмы.

За Девичкой, если перейти Большую Пироговскую и взять влево, по переулочкам шёл маршрут к сороковой школе, второй из моих трёх школ. Неподалёку от этого маршрута – музей-усадьба Льва Толстого. Правее – детский дом (в котором одно время работал отец), вьетнамское посольство, где стоял стенд с фотографиями чужой жизни – экзотической, хотя и социалистической. Глубже уходил Хользунов переулочек: с загадочной башенкой на доме, с надписью «Анатомический театр» на одном из зданий медицинского института, с «парком Мандельштама» (не поэта, конечно, а учёного), с каким-то важным военным зданием.

Описал я, конечно, не всё, а лишь то, что вспомнилось раньше остального.

⁵⁴ Военная академия имени М.В.Фрунзе, существовавшая с 1918 по 1998 год. Потом была реорганизована. Впрочем, для нас это было всего лишь название её главного здания.

Тянет ли меня туда сейчас? Да нет. Но я много раз бывал там уже взрослым, всегда с большим интересом и вниманием. Родные места полны таинственной притягательности. И тем, что остались в чём-то прежними, и тем, что во многом изменились.

Привязанность или признательность?

Какое-то тёплое чувство к местам, где я долго жил, – прежде всего, к дому два по Клинической улице – я испытывал всегда, ощущаю его и до сих пор. Каждый раз, когда я оказывался в этом районе волей обстоятельств, мне было любопытно взглянуть в своё прошлое. Иногда даже сворачивал к родному двору, если был недалеко: взглянуть, что там сейчас. Но никогда не ездил туда специально.

И не было ностальгии по утраченному, не было печали. Меня это даже порою беспокоило – есть ли у меня *привязанность* к местам моего детства? Или я монстр бесчувственный?

Нет, не привязанность. Слишком в этом слове ощущается «привязь», несвобода. Тем более не ностальгия, от неё веет печалью, унынием. Это швартовы корабля, не желающего уплыть... Но *признательность* родным местам с годами становится сильнее. Всё отчётливее я понимаю, что мне достались особые «обстоятельства места»: сочетание городского разнообразия с достаточным для ребёнка простором, двор без дворовой шпаны, да ещё заросли акаций и тополя...

В слове «признательность» слышится и значительность того, что с тобой происходило, и появившееся со временем знание о смысле тогдашних знаков судьбы, и даже их таинственный призыв к сегодняшнему дню... Признательность охватывает не только естественную благодарность родителям и окружающим людям, но и старые газеты, которые нашлись вместо пелёнок в роддоме, и котёл, вмурованный в печь, который был моим первым кабинетом для занятий самопознанием.

В жизни всё изменяется. Память оказалась гораздо прочнее и просторнее, чем я думал, когда принимался за книгу воспоминаний. Может быть, эта прочность возникает благодаря признательности?..

Детский сад и его наказания

В детском саду я был недолго. Он находился на Усачёвке⁵⁵, позади 51-й поликлиники, где работала тётя Дея⁵⁶, мамина сестра. Иногда меня отвозил туда на трамвае дедушка, и почему-то запомнилось мне только это «иногда».

Мой крошечный детсадовский опыт был вполне достаточным для этой диковинной страницы детских впечатлений. Наверное, чуть больше – и мне вовсе не хотелось бы вспоминать о ней.

Миром детского сада (речь о той группе, куда я ходил, но она для меня этот мир и исчерпывала) правили две широкоформатные, по моим тогдашним мелкомасштабным впечатлениям, воспитательницы. Отличить их друг от друга мне было не дано.

Хорошо памятливы пищевые проблемы. Особенно один вид супа. Есть его надо было обязательно, а меня тошнило уже от одного его запаха. Наказание за несъеденное блюдо было известно: ослушника отправляли стоять в шкафчике с одеждой. Поэтому, почуввав «свой» суп, я тут же вставал из-за столика и отправлялся в раздевалку, где залезал в своё узенькое отделение и пребывал там, пока не позволяли выйти. Других ставили силой. Но я был очень послушным.

⁵⁵ Усачёвская улица.

⁵⁶ Дея Лазаревна Пигарева.

Ещё у меня была странная нелюбовь к красной икре, которая тогда была вполне обычным продуктом. Когда давали бутерброды с икрой, я потихоньку сбрасывал с хлеба на пол икринку за икринкой, они были довольно подсохшие. Почему-то не помню, чтобы меня за это наказывали, хотя должны были бы. Неужели я делал это так незаметно?..

Практиковались наказания и поэфффектней одёжного шкафчика. Помню мальчика, лежащего в кровати, и очередь остальных детей, которые должны были пройти мимо кровати. Каждый обязан был шлёпнуть провинившегося по красной попке, мягкой и беззащитной. В чём он провинился?.. Не знаю.

Был и другой способ наказания стыдом: мальчика раздевали догола и приводили в девчачью группу. Меня такому не подвергали, и за что полагалось такое возмездие, осталось мне неизвестным.

Решительно не помню ни одного какого-нибудь воспитательного мгновения: каких-то игр, чтения книжки, занятия, просто человеческого разговора. Или такая уж неудачная память, или такой уж неудачный детский сад. Ходил я туда месяца два или три: слишком уж мне было там не по себе, и родители это понимали.

Младшего брата, Максима, я возил зимой на санках в *его* детский сад, другой, туда и обратно, по Хользунову переулку⁵⁷. Помню, что демонстрировал ему, как делают тетради на фабрике беловых товаров⁵⁸, мимо полуподвальных окон которой мы проезжали.

Бегал за молочным кормом для него на молочную кухню, работавшую в очень ранний час. Кефир и молоко были в двухсотграммовых бутылочках, заткнутых обычными ватками. Для бутылочек прекрасно подходила сумочка-корзинка, плетёная из разноцветных пластмассовых полосок.

Рассказываю об этом, чтобы закончить печальную главку не совсем в миноре. Хотя, может быть, и у Максима не самые радостные воспоминания о своём детском саде.

Игры пустынного двора

Двор наш был каким-то полуостровом – не то чтобы совсем оторванным от остального города, но всё-таки в значительной степени отделённым от него. Играли мы обычно со своими: с подрастающими братьями, с приезжающими порою родственниками-детьми, с немногими знакомыми детьми соседей... С кем-то ещё?.. Вряд ли смогу уверенно сказать. Играли на пустынной земляной площадке, пыльной и каменистой, но довольно ровной и просторной. Летом обычно наша семья ездила в пионерлагерь, но были ещё весна и осень. Зимой чаще ходили с санками на Девичку.

Играли в казаки-разбойники: одна группа пряталась от другой, оставляя за собой указательные стрелки. Название игры давнее, дореволюционное. Наверное, с давних времён она до нас и дошла.

В ножички играли. Например, чтобы перочинный ножик, разными способами брошенный (с локтя, с колена и т.д.), воткнулся в землю. Не воткнулся, упал, тогда другой начинает свою цепочку бросков, или продолжает прерванную.

Ещё одна игра в ножички: чертили общий круг, по очереди кидали в него ножик. Если воткнулся, проводишь черту в направлении, заданном плоскостью лезвия. Эта черта определяла завоёванный участок круга, принадлежащий теперь тебе. Так постепенно делили круг между собой. Пока оставалось ещё незанятое пространство. Надо было стоять, кидая ножик,

⁵⁷ Хользунов переулок: так называли его между собой, хотя официальное название – переулок Хользунова.

⁵⁸ Фабрика беловых товаров – это где делают школьные тетради, записные книжки, альбомы для рисования и т. д.

именно на своём участке, даже если приходилось балансировать на носочке одной ноги. Выигрывал наибольший «землевладелец». Кажется, это называлось «играть в города».

Играли мячом в вышибалы. Это ещё называлось почему-то круговой лаптой. Все «в кругу» (впрочем, прямоугольном), кроме двух водящих, старавшихся осалить⁵⁹ остальных мячиком.

Была ещё «американка». Что-то вроде тенниса, только без ракеток, а вместо сетки – черта на земле. Мяч любой мог быть, не обязательно теннисный. Играли в неё один на один.

Когда набиралось несколько человек, играли в «штандер»⁶⁰. Вставали в кружок, и водящий высоко бросал мяч, называя кого-то из играющих. Пока тот ловил, все разбегались подальше. Поймавший кричал: «Штандер!», – и все замирали. Он выбирал кого поближе, кидал в него мяч. Если попал, водил осаленный. Не попал – сам виноват, водил снова.

Арсенал наших игр был космополитичен (тут и казаки, и американцы, и воспоминание о русской лапте, и немецкое «штандер» – всё перемешалось), но мы и не задумывались об этом. Нам было хорошо.

Были и более индивидуальные занятия для двора. Например, любил я делать и пускать ракеты. Делались они из туго свёрнутого рулончика фотоплёнки, тщательно завёрнутого в фольгу. С одной стороны надо было сделать сопло. Через него я поджигал плёнку, через него и реактивные силы срабатывали. Летала такая ракета, правда, не слишком далеко (не говоря уж о высоте) и зигзагами, но всё-таки совершала что-то вроде полёта.

Случалось лазить по крыше того бывшего храма, который мы считали складом. Вернее, по краям строения с замысловатым рельефом. Заглядывать в мутные уцелевшие окна, смутно различая груды досок и прочие материалы на полу, посреди совершенно нескладского зала.

Ещё одна дворовая забава – взрывание капсюлей. Правда, для этого требовался асфальт, но на Погодинку как раз выходил подходящий забор. Не помню, откуда они брались – кругленькие, медного цвета, с серебристым доньшком. Надо было наклеить капсюль пластилином на острый конец большого гвоздя и бросить откуда-нибудь сверху (например, с забора) на асфальт, чтобы раздался звук вроде выстрела. Это и доставляло удовольствие.

Чуть не забыл сказать про «секретики». Наверное, это девчачье занятие, но я об этом не знал, мне нравилось. Выкопаешь ямку в укромном месте, положишь туда что-нибудь яркое: хоть кусочки фольги, а то и штучки какие-то (бусины или что другое), закроешь ямку прозрачным стёклышком, присыплешь землёй так, чтобы никто случайно не разрыл, а для себя место запомнишь или обозначишь. Через месяц-другой (или завтра, если терпения нет) придёшь, расчистишь стёклышко от земли, не вынимая его, и радуешься, любишься. А потом снова закапываешь. Считать ли это игрой? Кто тогда выиграл?.. Ты и выиграл: порадовался.

Лет тридцать спустя, гуляя с маленькой дочкой Ксюшей и её подружкой (тоже Ксюшей), я научил их игре в «секретики». Они были в восторге! Моя Ксюша так увлеклась этой игрой, что развила идею до полноценных «кладов».

Сейчас Ксюша, уже совершеннолетняя, подошла ко мне, и я спросил:

– Помнишь, как мы «секретики» закапывали?

– Ещё бы! Помню даже, как мы целый клад в сундучке закопали – в Химках, возле качелей-лодочек. Десять разных примет обозначили: веточками, камушками, только вот не помню, что же мы в сундучок положили.

⁵⁹ Осалить: сейчас даже это слово уже не всегда понятно. Так что на всякий случай поясню, что это значит коснуться рукой (в салочках) или мячиком (например, в круговой лапте).

⁶⁰ «Штандер»: по-немецки означает «вымпел, флажок». Видимо, этот возглас означает: застынь неподвижно, как флажок! Впрочем, игра хорошо описана в википедии.

Тут мы стали обсуждать возможную находку сундучка потомками, а затем я вернулся к книге. Ищите, дорогие потомки, ищите!..

Родное становится незнакомым

Места, столько лет бывшие родными, обжитыми и привычными, после того, как их покидаешь, отчуждаются от тебя в двух направлениях.

Во-первых, меняешься ты сам: взрослеешь, переживаешь иные этапы судьбы, привыкаешь к другим районам обитания.

Во-вторых, меняется сама местность, когда-то знакомая до мельчайших подробностей. Что-то снесено, построено, перекрашено, реконструировано – и вот, попадая сюда вновь, необходимо делать усилия, чтобы совместить память с сегодняшней реальностью. Не знаю, как происходит там, где обстановка более стабильная. Москва изменяется энергично. Хотя, наверное, при любой стабильности что-то ветшает, разрушается, строится. Должно быть, чем меньше изменения, тем острее они на тебя действуют. И всегда остаётся первое направление отчуждения: в тебе самом.

Поэтому, развиваясь, стоит постепенно заменять привязанность признательностью. Тогда, созревая, будешь готов не только к тому, что осенью листва изменяет свой цвет, но и к расставанию с деревом, с садом, с земной жизнью. Это не мешает радоваться тому, что жизнь продолжается. Радость – это сердечная признательность к дпящемуся «сейчас».

Пожалуй, есть и ещё одно направление... нет, не отчуждения, но выращивания, расставания. Это расходящиеся от души круги, которые охватывают всё большее пространство внимания. От комнаты к квартире, от квартиры к дому, к деревне или району, к городу, к стране, к другим странам, к планете, к мирозданию... И то, что было родным и единственным, становится клеточкой, из которой прорастает новое, глубинное родство, которое, может быть, ощущал всегда, но постепенно стал осознавать всё более явно.

Праздники по-советски

Двумя главными официальными праздниками были Седьмое ноября (годовщина Октябрьской революции) и Первое мая (День международной солидарности трудящихся). Их праздновали по два дня. Выходили газеты с соответствующими партийными лозунгами (они назывались «Призывы к...»), проводились военные парады и народные демонстрации. Отмечали эти праздники и в нашей семье. Отмечали не на пафосной ноте, а как возможность порадоваться всей семьёй общему веселью.

Папа (пока был с нами), мама и мы, трое братьев, принаряженные, выходили на Девичку. «Большой королевский выход», – обязательно произносил кто-нибудь из родителей с торжественным удовлетворением. Порою выходили и дедушка с бабушкой, но они на Девичке и оставались, усевшись где-нибудь на лавочке. А мы, побыв рядом с ними, пообщавшись со знакомыми (этим занимались взрослые) на многолюдной в этот день, праздничной Девичке, отправлялись дальше, к Зубовской площади.

На Большой Пироговской стояла длинная колонна демонстрантов – с плакатами, с флагами, с красными ленточками на груди. Кое-где случался гармонист, под аккомпанемент которого некоторые плясали. Ближе к Садовому Кольцу, к Зубовской площади праздничного народа становилось всё больше. Чаше встречались продавцы-разносчики. Продавали круглые разноцветные воздушные шарикИ, летучие или нелетучие, петушков на палочке, простенькие флажки, надувные гуделки «уди-уди», китайские разворачивающиеся веера и прочие расклад-

ные украшения того же типа (то получался шар, то три шарика поменьше). Ещё продавали мячики на резинке и смешно прыгающих (тоже на резинке) глиняных обезьянок с лапками на пружинках. Не знаю, частные ли это были продавцы, а если да, то как они уживались с запретом частного предпринимательства. Конечно, каждому из детей что-нибудь покупали. Мы медленно шли (младший Максимка до поры до времени был в коляске) от Министерства бумажной промышленности на Зубовской до метро «Парк культуры».

Потом начиналось главное зрелище: возвращение войск с парада. На самом параде, мы, естественно, никогда не бывали – это являлось большой привилегией, – но и не жалели об этом. По Крымскому мосту на Садовое Кольцо выезжали моторизованные войска: танки, бронемашины, грузовики с военными, автомобили с командирами и прочее. Все действующие лица были ещё в парадном настроении, но вели себя попроще, чем на Красной площади: улыбались, всем махали руками. Им дарили цветы, флажки, шарик. Это было больше похоже на вход войск в освобождённый город, без парадного официоза. Однажды я даже посадил маленького Максимку на что-то бронированное (его бережно взял на руки один из военных), и он – к своему и моему восторгу – проехал так целый квартал, пока колонна в очередной раз не приостановилась, тогда я получил брата обратно.

К вечеру на маленькой площади перед клубом «Каучук»⁶¹, по соседству с нашим домом, происходило «народное гуляние». На эстраде, расположенной на крыше входной части клуба, выступали артисты, пели и плясали. Машины не ездили, народ глазел на представление, потом публика танцевала. Бывало, что на ограде нашего двора со стороны площади сооружали экран и показывали на нём бесплатное кино.

Но дома у нас был свой праздник, так что мы в гулянии не участвовали. Накануне бабушка готовила всякое вкусное, пекла пироги и пирожки. Обычно к ней на помощь приезжала тётя Фаня⁶², дедушкина сестра. Мама готовила свой фирменный «наполеон», иногда ещё что-то. Приезжали гости: тётя Дея с семьей, другие родственники. Часто меня посылали в киоск купить «торт-мороженое» или два больших брикета пломбира.

Застольями дома отмечали и дни рождения, и Новый год. Основным напитком для детей и взрослых была газировка: «Дюшес», «Крем-сода», «Крюшон» и так далее – в пол-литровых стеклянных бутылках. Взрослые пили и вино, но немного. Водки не было.

Самым желанным, самым важным в семье праздником был Новый год. Настоящая ёлка была у нас в комнате, а у бабушки с дедушкой стояла искусственная ёлка-малютка, для которой имелся специальный набор миниатюрных ёлочных игрушек (в точности как настоящие). На нашей ёлке магазинные игрушки (их было немного) соседствовали с самодельными – флажками, фонариками и прочими результатами творчества к прошлым новогодним праздникам. Что-то новенькое мы делали для наступающего Нового года.

Вечером являлся Дед Мороз. Постепенно, по мере взросления, каждый из детей делал открытие, что это наш дедушка, облачённый в старую шубу. Но даже после этого открытия Дед Мороз пользовался всеобщим признанием. На ночь мы, дети, выставляли обувь, в которой наутро всегда оказывались орехи (обычно фундук).

Вызывают ли у меня ностальгию праздники детства? Нет. Это всё равно, что пытаться влезть в штанишки с лялочками.

Семейные праздники приятно вспомнить. Не застолья (хотя бабушка и тётя Фаня готовили вкусно), а ощущение большой семьи. На одной из старых праздничных фотографий стоит

⁶¹ Клуб «Каучук»: был построен в 1927 году архитектором-конструктивистом Мельниковым.

⁶² Фаина Борисовна Шнеерсон.

мама с нами, тремя сыновьями, на фоне большой афиши, рекламы фильма, с крупной надписью «Большая семья»⁶³...

А советские праздники сейчас воспринимаются совсем по-другому. На воспоминания о танках, идущих с парада, наложились более поздние эмоции, связанные с вводом советских танков в Прагу в 1968 году⁶⁴ (а до неё, в 1956 году, было подавление восстания в Венгрии, о чём я узнал лишь из книг). Ещё с тоской припоминаешь чрезмерную стандартизированность тогдашней окружающей жизни. Всё было одинаковым, унифицированным – и в будни, и в праздники. Одежда, игрушки, машины на улицах, праздничное оформление...

Что осталось

«Что остаётся от свечки, когда она догорела?» – спрашивает Алиса в Стране Чудес, героиня сказки Льюиса Кэрролла. «Что остаётся от сказки потом, после того, как её рассказали?» – спрашивает Владимир Высоцкий в песне из мюзикла об Алисе⁶⁵.

Что остаётся от детства после того, как оно прошло? Остаётся на всю жизнь? – спрошу я сам себя.

Самый очевидный ответ – память. То, о чём рассказывает эта глава. Но хочется копнуть глубже. Попробовать разглядеть следы детства в характере, в представлениях о жизни.

Первое, что здесь различимо, – это свобода. Да, у мальчика, предпочитающего сидеть дома, была уйма свободы, которая впитывалась в душу. Я мог свободно думать, читать, пробовать то, что мне было интересно.

Запомнилось, как отец вручил мне подростковый велосипед. До этого у меня был детский, не самый маленький, не трёхколёсный. Но новый «Орлёнок», на котором я делал первый круг по двору (отец бежал рядом, подстраховывая), удивлял меня своим большим колесом, с оранжевой, ещё не запачканной крышкой, выкатывающим меня в какое-то новое измерение жизни.

В детстве это случалось неоднократно – выкатывание в новое измерение жизни.

Не менее важным было ощущение любви, которой я был окружён. Не той слепой экзальтированности, которая впадает в панику при всяком «не так», а душевно углублённой, внешне спокойной радости, что ты есть, ты рядом, с тобой хорошо.

Надёжность и целостность семьи (даже когда отца арестовали, семья осталась единой) стала для меня неким архетипом. Всю жизнь потом я ощущал себя однолюбом и семьянином – и, наконец, стал им, хотя путь к этому состоянию оказался непростым, с резкими разворотами.

Осталось ли это ощущение семейной любви у моих детей?.. Не мне отвечать на этот вопрос.

Большое значение для меня всегда имели братья и то, что я был для них старшим. Позже, в отрочестве, это приучало к заботе и ответственности. Но в детстве важно было само присутствие рядом младших, для которых жизнь выглядит совсем иначе.

Им, наверное, пришлось хуже. Комплекс младшего брата (когда неминуемо слышишь, что ты ещё маленький и старшим можно то, чего *пока* нельзя тебе), а тем более комплекс среднего брата (когда слышишь и это, и что младшему можно то, чего *уже* нельзя тебе) сказываются на характере...

⁶³ «Большая семья»: фильм, вышедший на экраны в конце 1954 года.

⁶⁴ Имеются в виду события августа 1968 года, когда советские танки вошли в столицу Чехословакии.

⁶⁵ Мюзикл об Алисе: аудиоспектакль с музыкой и песнями Владимира Высоцкого, выпущенный на пластинке в 1976 году.

Братья всегда были для меня чем-то органичным, естественной частью жизни. Хотя с возрастом наши судьбы расходились и отношения в какой-то степени отчуждались, но ранняя соединённость осталась удивительным ключиком ко взаимопониманию, который действует до сих пор.

Наверняка от многих других зёрнышек детства протянулись ростки длиной во всю жизнь. Но и для следующих глав надо что-то оставить.

Спасибо детству и судьбе за всё, что мне досталось. Хотелось бы мне в достаточной степени «отработать» полученное.

Тридцать пятая была первой

Да, для меня она стала первой, начальной, первоначальной школой⁶⁶. Какой она мне запомнилась?..

В ней присутствовало что-то армейское, особенно в самом начале, когда ещё сохранялось раздельное обучение⁶⁷. Вскоре обучение стало совместным, но сохранилось ощущение некоторой солдатской повинности – хотя и в детском, игрушечном масштабе.

Наша учительница, Зоя Александровна, вполне годилась в сержанты или старшины: квадратная, не улыбочивая, блюдущая дисциплину... и всё, больше ничего о ней сказать не могу.

Армейскую тональность подчёркивала форма: гимнастёрка, ремень с большой пряжкой бронзового цвета, такие же пуговицы, подшивной белый воротничок. Девочки тоже в униформе – коричневые платья, черные фартуки (белые по праздникам).

Ручки со вставными пёрышками, чернильницы-непроливайки⁶⁸, парты с дырочками для школьных чернильниц и с откидывающимися крышками... Всё везде было более или менее одинаковым.

На уроках труда (скорее рукоделия) мы мастерили перочистки из кружочков фланели, соединённых в центре нитками и закреплённых сверху пуговкой. (Перочистки вместе с непроливайками мы носили с собой в школу и из школы в мешочках на тесёмке.) А пёрышками играли: кто, поддев чужое пёрышко своим, переворачивал его, забирал себе. Пёрышки различались по выдавленным на них номерам. Писали мы обычно номером четвёртым.

От самой учёбы сохранилось мало впечатлений. Читать и писать я умел до школы, а на уроках было, мягко говоря, скучновато. Помню, как меня неожиданно вызвали к доске: показать Северный морской путь. Я вышел растерянный, взял указку, но никак не мог понять, чего от меня хотят. Так мне и вписала Зоя Александровна в дневник редкостную для меня двойку. Наверное, я спокойно показал бы всё, что надо, но весь урок я читал книгу. С помощью распространённой ученической технологии: надо было держать книгу под крышкой парты и читать строчки в прорезь между основной частью крышки и откидывающейся частью. На парте для маскировки лежал раскрытый учебник, на который якобы был устремлён взгляд. Забавно, что читал я в тот раз «Путешествие капитана Гаттераса» Жюль Верна. И полярные переживания героя полностью поглотили моё внимание. Какой там Северный морской путь? Мы с Гаттерасом ушли гораздо дальше!

⁶⁶ Школа №35: создана в 1952 году. Сейчас это лицей 1535 по адресу Малый Саввинский пер., д. 8.

⁶⁷ Раздельное обучение действовало в московских школах с 1943 года по 1953 год. С 1954/55 учебного года было восстановлено совместное обучение мальчиков и девочек. Так что я застал раздельное обучение лишь в первом классе.

⁶⁸ Чернильница-непроливайка: пластмассовая чернильница с горлышком-воронкой, из которой при случайном переворачивании чернила не должны выливаться.

Вот ещё внутришкольный эпизод. Ребята-старшеклассники вырывают из учебников портреты Сталина, мелко рвут и спускают в унитаз. Мне было странно, потому и запомнилось, но не более того. Даже не заинтересовало, почему они это делают. Лишь гораздо позже эта картинка стала понятна.

Родители мои, видимо, чувствовали бесцветность моей школьной жизни. Они пытались как-то сотрудничать со школой, внести свою педагогическую лепту. Отец одно время вёл там уроки труда в старших классах, мама поставила для младших классов утренник, посвящённый русскому языку. Стихотворный сценарий сочинила сама. Мне досталась главная роль – ученика, пытавшегося понять правила правописания. Остальные участники были буквами алфавита, которые рассказывали о своих повадках и выстраивались в слова.

У меня не было особых проблем, связанных с учёбой в начальной школе. Не было и никаких памятных переживаний. Получал в конце каждого учебного года похвальные грамоты, ну и что? Сейчас я думаю, что школа просто была обычной – серой, скучной, безрадостной. И вот это было главной проблемой. Хотя тогда меня это не беспокоило. Но ведь это был период с семи до десяти лет, важнейшее время для формирования интересов! Позже, после двадцати, я стал ощущать какую-то замедленность в своём развитии. Но восполнить годы, которые я провёл в начальной школе, было уже невозможно.

Замедленное или ускоренное

Нужно ли вообще ускоренное развитие? Не перегорит ли человек, с детства набравшийся чрезмерной эрудиции, обострив свои разнообразные способности? Хотел бы я быть вундеркиндом?

На первые два вопроса трудно ответить, всё зависит от конкретной судьбы. Зато на третий вопрос, который касается меня самого, отвечаю уверенно – не хотел бы.

Развитию лучше быть не ранним или поздним, не замедленным или ускоренным, а своевременным и органичным. И моё замедленное развитие было органичным для меня. Может быть, именно то призвание, которое я понимаю как философское, нуждалось в постепенности, в неторопливой задумчивости, в спокойном оглядывании по сторонам. Тогда остаётся быть благодарным и серенькой начальной школе, и сержантского типа учительнице, и прочей житейской обычности.

Собирание личности⁶⁹, которое идёт у человека всю жизнь, – это вообще таинственный процесс. Ведь дело не только в том, чтобы приобрести те или иные свойства, а ещё в их прилаженности друг к другу, чтобы они соединились в тебе, как надо. Может быть, что-то ускоренно освоишь, а оно будет мешать другим важным вещам?..

Но всё равно ребёнку нужно жить в поле возможностей. Школа должна быть месторождением открытий, увлечений, интересов, призваний. И не только школа, а вся окружающая ребёнка среда. Всем нам стоит заботиться об этом.

Нет смысла пытаться регулировать скорость детского развития. Но окружение, побуждающее к проявлению личных интересов, необходимо. Если судьбе надо будет найти для кого-то тихую заводь или другим способом охранить от раннего развития, это у неё всегда получится.

⁶⁹ Собирание личности – это выражение, которым я пользуюсь для обозначения важного для человека процесса обретения цельности, движения индивидуальности к Замыслу о себе в целом.

Соучастие в курении

Папа мой курил.

Сейчас, когда я больше четверти века уже не курю сам, когда вполне определённым образом представляю себе мрачную сторону этого дымного суррогата философичности, оглядываюсь на такое обстоятельство отцовской жизни с лёгким ужасом. Ведь он курил и дома, в комнате, при детях. Всё это считалось как бы нормальным; единственное, с чем пыталась бороться моя мама, – с оставленными где попало окурками.

Относился я к отцовскому курению как к данности. Как к удовольствию папы, до которого он дорос, а я нет.

Более того, я активно содействовал отцовскому курению! Да-да. Отец курил не только обычные дешёвые сигареты или папиросы, но и мастерил себе особые, праздничные. В этом процессе я и участвовал.

Он покупал упаковку пустых папиросных гильз и коробку с ароматным табаком «Золотое руно». Табак надо было набить в никелированную трубочку, которая для этого расстёгивалась пополам, а потом защёлкивалась. На один конец трубочки надевалась гильза, в другой конец надо было засунуть деревянный толкатель и с его помощью начинить папиросу табаком. Естественно, я не мог оставаться в стороне от такого увлекательного занятия и с удовольствием участвовал в нём, порою даже полностью брал на себя.

Возможно, этот образ курения как особого шика (литература и кино добавляли сюда свои романтические тона) послужил позже побудительной основой и для моего собственного курения. Если не считать некоторых периодов жизни, курил я не очень много, но двадцать с лишним лет не мог с этим расстаться.

Как я рад, что давно не курю!..

Свою последнюю сигарету я выкурил в Бавыкино, в Новый 1984 год. Последний Новый год, когда мы сидели за одним столом с отцом (кстати, в деревне и я курил при детях, увы). Меньше чем через две недели его не стало. Последняя отцовская просьба, обращённая к маме, – уже без слов, жестами, – дать затянуться. Да, у него курение так и осталось данностью жизни. Ещё бы – война, лагеря... Можно понять.

Родственники ближние и дальние

Родственников у нас было немало. Рядом были дедушка и бабушка, Лазарь Борисович и Ольга Семёновна Гиндины. Любимые и любящие, заботливые, близкие в самом прямом смысле слова: всегда в соседней комнате. Не помню никаких особых конфликтов с ними. Между собой у них тоже не замечал ссор – разве что иногда разговор на повышенных тонах, суть которого я никогда не улавливал. Только сами эти тона. Дедушка – высокий, солидный, общительный. Бабушка – уютная, домашняя, хотя и работала учительницей.

Особенно близкой была и тётя Дея, мамина сестра. Она нередко бывала у нас, с ней иногда приезжали её муж, Пётр Титович Пигарев, мечтательный, немного отрешённый. Чаше бывали дети, Галя и Боря⁷⁰ (в детстве его звали Бобкой). Любопытно, что Галя и Боря говорили дедушке с бабушкой «ты», а мы с братьями – «вы».

У нас с Борей разница в полгода (он старше), а Галя старше нас на несколько лет. Борю заставляли учиться играть на скрипке и не разрешали сидеть нога на ногу. Я был свободен от такого контроля.

⁷⁰ Галина Кузнецова и Борис Пигарев.

Случалось, что и мы ездили в гости к Пигаревым. По сравнению с их коммуналкой, неподалёку от метро Красносельская, наша квартира казалась почти отдельной. У них в общий коридор с единственным туалетом и водопроводным краном выходил десяток дверей, за каждой из которых, судя по всему, жили по две-три семьи. За последней дверью, которая вела к Пигаревым, жили они и их соседи, совсем уж соседние. Мне нравилось здесь бывать: знакомое смешивалось с чем-то иным, немного загадочным. Пианино, эскизы Петра Титовича (он был художник-оформитель) и всякое прочее.

Две других тётки, сёстры отца, изредка приезжали к нам из Чимкента. Тётя Настя⁷¹ была постарше отца, неторопливая и спокойная. Тетя Клава⁷², помладше и повеселее, приезжала с дочкой Галей⁷³, моей ровесницей. Я «отдал им визит» только много лет спустя, когда мы с Галей оба были студентами.

Да, у меня две кухни, и обе Гали. Вот ведь как сошлось – без чьих-либо специальных намерений. А сейчас сошлось так, что у меня две старшие внучки – Даши.

У бабушки с дедушкой было много других родственников: двоюродных, троюродных, четвероюродных и родственников родственников... Некоторые приезжали время от времени, как дядя Валя из Ленинграда, который останавливался у нас во время своих московских командировок. (В Ленинграде была вообще целая «колония» родни.) Другие возникали ненадолго, вроде «Веры большой»⁷⁴, так её называли, – крупной, энергичной, экспансивной, – или Яши⁷⁵ и Абраши⁷⁶, военврачей, которые, как мне казалось, приезжали всегда вместе. Впрочем, наверное, просто их имена срифмовались раз и навсегда.

Особо надо сказать про тётю Фаню, дедушкину старшую сестру. Она жила в районе Метростроевской, теперь Остоженки. Одинокая, потерявшая молодыми сына и дочь во время войны (а перед войной – мужа), она приезжала к нам почти на все праздники. Бывали и мы у неё в полуподвальной комнате. У неё было особенно чисто, ухожено, всюду лежали кружевные салфетки, на тумбочке пара больших морских раковин, на кровати несколько подушек пирамидкой. В этой аккуратной комнатке можно было только чинно посидеть, поговорить. Ни для чего другого она не годилась.

Потом я узнал, что многих бабушкиных родственников уничтожили фашисты. Может быть, поэтому старшие так внимательно и гостеприимно относились к тем, кто остался в живых.

Жизнь воспоминаниями

У Борхеса, есть рассказ про человека, обретшего способность заново жить, по желанию, в любом своём прошлом – как сказали бы сейчас, «в режиме реального времени». Он так и делал: жил в лучших своих днях юности, ничего не делая в текущей жизни (более поздней, реальной)⁷⁷.

Этот красочный образ лишь утрирует пристрастие некоторых людей, особенно пожилых, жить своим прошлым. Актриса или балерина, давно закончившая карьеру, а теперь тихо увядающая среди пожелтевших афиш... Большой начальник на пенсии, перебирающий подро-

⁷¹ Анастасия Акользина.

⁷² Клавдия Москвитина.

⁷³ Галина Томасова.

⁷⁴ Вера Григорьевна Рогова.

⁷⁵ Яков Эммануилович Локшин.

⁷⁶ Абрам Эммануилович Локшин.

⁷⁷ Имеется в виду рассказ «Фунес, Помнящий».

ности своего славного прошлого... Кто-то уходит и в своё «золотое детство», но память пригашает слишком давние подробности.

Может быть, многие мемуары – разновидность подобного эскапизма⁷⁸? Да иногда и художественные книги, вроде «В поисках утраченного времени»? Недаром Пруст старался изолировать комнату от мира сегодняшнего.

Не думаю, что все стараются, подобно герою Борхеса, снова и снова насладиться лучшим из пережитого. Тот же Марсель Пруст завораживает не самим прошлым, а стремлением создать его метафорическую картину. А это – сегодняшняя работа человека, не просто погружение в воспоминания.

подавляю порою соблазн просто перебирать, как чётки, факты и переживания, накопившиеся в большом и разнообразном количестве. Тем более, когда возникают физические ограничения внешней активности.

И каждый день заново убеждаюсь, что прошлое во сто крат глубже и увлекательнее, когда смотришь на него из сегодня. Когда это *сегодняшнее прошлое*, осмысленное тем пониманием, до которого дорос только сейчас.

За покупками

Мне нравилось быть дома: читать, заниматься своими делами. Отправить меня погулять было непросто. Двор пустынный, гости бывали редко. Гулять без повода, без дела, я решительно не хотел. Поэтому меня часто посылали за покупками, чтобы хоть так я дышал свежим воздухом.

Лучше всего было командировать меня на Усачёвский рынок – он подальше. Но рыночные покупки считались делом ответственным: надо было выбирать, торговаться. Мне доверяли разве что редиску купить, да и то тщательно инструктировали: круглую, крупную, с белыми кончиками.

А туда я как раз любил ходить. Мне нравилась оживлённая рыночная обстановка, кустарные сувениры. Позже я стал заглядывать в магазин по соседству, загадочно называвшийся «Москательные товары»⁷⁹. Там можно было купить, когда я стал заниматься химией, денатурат для спиртовой горелки и другие полезные вещества.

В ближние магазины я ходил часто. Совсем рядом был Ливерс⁸⁰. Что это значило, я не знал. Просто подразумевалось, что Ливерс – ближайший магазин. Но чаще меня посылали на Плющиху (в Ливерсе было не всё и не всегда). Магазины получше начинались на Плющихе, за Академией Фрунзе: булочная, воды-соки, молочный, а напротив – овощной.

Ассортимент всюду был невелик, но довольно стабилен. И почему-то мало воспроизводим сейчас. Или это вкус детства неповторим? Большие, килограммовые буханки белого и серого хлеба (именно серый был особенно вкусным, хотя и за два рубля вместо двух восьмидесяти), «рижский» с тмином, ситники, обсыпанные мукой, плотные бублики (не мягкие, как сейчас), «городские булочки» по семьдесят копеек. В молочно-бакалейном магазине стояли витринные ёмкости с красной и чёрной икрой, зернистой и паюсной, ею торговали в развес, она считалась вполне обычным продуктом. Молоко, кефир, ряженка, простокваша, ацидофилин были в стеклянных поллитровых бутылках с широким горлышком и крышечками из толстой фольги, различавшимися по цвету (белый, зелёный, красный, синий, сплошные и в полоску).

⁷⁸ Эскапизм: стремление человека отгородиться от проблем внешнего мира.

⁷⁹ Москательные товары: краски, клеи, технические масла и другие химические вещества, используемые в быту.

⁸⁰ «Ливерс»: название происходит от марки английских станков для изготовления кружев, которые были закуплены для фабрики, действовавшей в этом районе ещё в конце XIX века. Узнал я это недавно, а до этого думал, что это фамилия бывшего владельца магазина.

Бутылки потом, вымыв, сдавали. За них платили половину стоимости – полтора рубля⁸¹). Принимали их и в обмен, при покупке новых.

А ещё – мои любимые кубики концентратов кофе и какао: с сахаром, сухим молоком или сливками. Их было так вкусно грызть сухими, что до приготовления напитка дело не доходило.

В овощном запомнились кадушки с квашеной капустой многих видов: простая, с тмином, с клюквой, провансаль и т. д.

Соки продавали в разлив из больших стеклянных конусов (продавец заливал их туда сверху из банок, а в стакан наливал снизу из краника). А газировку – из цилиндрических ёмкостей поменьше. Точнее, в этих колбах были сиропы разных видов, а к чуточке сиропа добавляли из отдельного крана чистую водопроводную воду, смешанную с углекислым газом из баллона.

Такой же газировкой торговали на улицах тётеньки в белых халатах, сидевшие у специальных передвижных устройств, компактных и стандартных, рядом стояли баллоны с газом. стакан воды с сиропом стоил 40 копеек, а без сиропа, кажется, пятак. Или вообще одну копейку? Потом газировщиц вытеснили автоматы. Автоматы работали по тому же принципу: сироп и вода. Уже прошла денежная реформа 1961 года⁸², и стакан воды с сиропом стоил три копейки (на копейку меньше, чем у газировщицы, потому что четырёхкопеечной монеты не существовало), а без сиропа – всё равно одну копейку.

Вспоминать всё это довольно приятно, но почему? Не так уж я тоскую по ситникам или по газировке с сиропом. Часть приятности составляет как раз отсутствие сейчас того, что я описываю. В этом прелесть земной, преходящей жизни: у каждого островка времени свои приметы, на этом островке они и остаются. Описывая каждый из таких островков, я чувствую: он тоже – неустранимая часть вечности. А вместе с ними, с островками, – и вся прошедшая часть моей жизни. С её прошлым и с неизвестным мне будущим, у которого появятся свои приметы. И с тем будущим, о котором я вообще ничего не могу сказать, кроме того, что оттуда, из того будущего, идёт Луч встречающий.

Килограмм семечек

Основной моей семейной обязанностью были походы на Плющиху: за хлебом, молоком и всякой бакалеей. Деньги мне давали бабушка или мама. Сдачу я, конечно, возвращал, но не сразу и не совсем всю. Она болталась в кошельке для денег несколько дней, пока тоже не шла в дело. Но разница всё-таки была. Одна-две медяшки вполне могли пропасть незаметно. Искусно сбережённые деньги со временем превращались в бумажный рубль (всё это было ещё задолго до денежной реформы 1961 года, когда рубль превратился в 10 копеек), а затем и в два. Всё это постепенно вело меня к заветной мечте: к килограмму семечек. Семечки в небольших фунтиках нам покупали без проблем, но они так быстро заканчивались... Быть обладателем КИЛОГРАММА семечек казалось мне чем-то невысказанно желанным. И вот однажды, выковыряв сохранённые втайне бумажки из-под стопки ненужных кирпичей, зачем-то всегда лежавших в туалете (не самое комфортабельное помещение нашей коммуналки), я взял свой капитал с собой, когда отправился на рынок по бабушкиному поручению – добыть пучок редиски с белыми кончиками. Редиску я купил, а потом солидно закупил в магазине у рынка килограмм развесных семечек. Это оказался внушительный бумажный пакет. На обратном пути мне неожиданно пришло в голову, что пакет очень уж вызывающе выглядит и домой с ним

⁸¹ Указаны цены того времени, до реформы 1961 года.

⁸² Реформа 1961 года сделала рубль в десять раз дороже. По идее, на гривенник можно было теперь купить столько же, сколько раньше на рубль. Прежние медные монеты (1, 3 и 5 копеек) остались в обращении, удешевив свою стоимость.

не заявишься. Недолго думая, я оставил его в закутке нашего каменного «склада», никуда особо там его не запрятывая. Никого же вокруг не было.

И пошёл отдавать бабушке редиску. Потом погрузился в обычные свои занятия.

Выйдя вечером во двор, я обнаружил обрывки пакета и огромное количество подсолнечной шелухи на земле. В этой ситуации было что-то совершенное. Я не попробовал ни одной семечки из своего возжеленного килограмма!

Моя повторная попытка вести туалетную кассу вскоре была разоблачена, и я с облегчением превратился в обычного честного мальчика, готового отчитаться в каждой потраченной копейке. Желание обладать килограммом семечек испарилось навсегда.

Кем был преподан мне этот выразительный урок? Провидением – или собственной детской наивностью? Провидение мне кажется более убедительной гипотезой (знать бы ещё, что это такое). Уж очень хорошо этот урок был построен.

Не могу сказать, что я всегда с тех пор блистал безукоризненной честностью. Но ощущение, что врать и мошенничать глупо, меня уже не покидало. Хорошо отпечаталось в памяти, как все мои ухищрения закончились лузгой на земле. Если даже быть шибко предусмотрительным и дотащить горсть семечек, или чего-то другого, до конца, до Луча встречающего, то как же они будут смешны и нелепы, бессмысленны и обременительны...

О том, чего не было

Мне важно не только осмыслить то основное, что было в детстве, но и понять значение того, чего не было.

Например, религиозность. Она совершенно отсутствовала в нашей семье. Символом её несуществования стало соседство с безмянным «складом», оказавшимся впоследствии храмом. Да и в слове «богадельня» я не слышал тогда ничего религиозного.

Советскую идеологию некоторые считают разновидностью веры, но вокруг меня не наблюдалось и никакого идеологического дурмана. Хотя дедушка был партийным пропагандистом и агитатором, но ни он, ни другие взрослые никак на меня в эту сторону не воздействовали. Тем более не проникал в нашу семью культ личности. Хотя мама и написала в своём «Бавыкинском дневнике»⁸³ главу «Как из меня сделали сталинистку», но таковой всё-таки не стала и свою партийность принимала просто как обстоятельство жизни, никак не донося её до нас с братьями.

Жили мы небогато, но без нищеты. Бывая в гостях у одноклассников, я видел, что некоторые живут лучше нас, но многие – хуже. То, что мы не страдали от бедности, было связано и с дедушкиной финансовой подстраховкой, и с трудолюбием родителей. Меньше всего – с социалистическим лозунгом (одним из многих) «Всё во имя человека, всё для блага человека».

Слава Богу и за то, что мы не были богаты! Это, по-моему, испытание жёсткое – может быть, даже хуже бедности. Судьба словно держала меня поблизости от золотой середины, располагая к спокойному философичному наблюдению жизни и не подвергая тому, чего я мог бы не выдержать.

Не было в моём детстве и вопиющих трагедий, которые могли бы исковеркать психику. Не было депрессий у взрослых, тем более пьянства и т. п. Некоторые тяжёлые для родителей переживания (например, рождение мёртвой девочки у мамы) были от меня в детстве скрыты.

⁸³ Кротова М. Л. «Бавыкинский дневник» (М., 1998). Об этой книге будет рассказано дальше.

Пишу это, чтобы отчётливо понять: судьба меня щадила, и во многих душевных качествах, вроде оптимизма, нет моих заслуг. Меня снабдили этим гены и обстоятельства жизни.

Дорога в школу, дорога из школы

Стою у нашего подъезда: стриженный «под нулёк», в фуражке, в гимнастёрке с ремнём, в наглаженных брюках. Пряжка и пуговицы на гимнастёрке блестят, начищенные специальной пастой или просто зубным порошком (под пуговицы надо было подкладывать картонку с прорезью). Ранец – прямоугольный, жёсткий, других тогда и не было. Это старое фото.

Ладно, надо сойти с фотографии: пора в школу. Повернуть направо, за угол дома, там выйти на Погодинку и свернуть по ней налево. Вот начался собачий лай в длинном доме за оградой. Сейчас я думаю, что это был медицинский виварий, где держали подопытных собак. Тогда не задумывался, это была данность: лай множества собак, когда иду мимо. Видел ли я клетки с собаками, заглядывая в полуподвальные окна? По крайней мере, иногда пытался увидеть, это я точно помню. А откуда сейчас смутные контуры клеток с собаками – из памяти или из воображения – не знаю.

Знаменитая Погодинская изба на другой стороне улицы поначалу была для меня только красивым домиком – в отличие от остальных некрасивых. Когда я узнал, что это памятник архитектуры, удивлялся тому, что в нём, в этом памятнике, люди живут.

Там, где Погодинка пересекается с Абрикосовским переулком и с Малым Саввинским, направо и немного вниз – моя первая школа №35.

Дорога обратно была совсем другой, с различными вариациями.

Иногда я обнаруживаю себя в компании мальчишек-одноклассников: мы прыгаем с гаражей. Прыгнуть первый раз было жутко, почти невозможно, хотя прыгали мы не на асфальт, а на кучу песка. Все прыгали, а я не мог. Меня уговаривали, подбадривали, подначивали – а я не мог. И наконец, с замиранием сердца, всё-таки прыгнул! Оказалось, это совсем не сложно и не опасно, куча песка была мягкой. После этого прыгал со всеми, и очень радовался преодолению страха.

Часто я возвращался с приятелем, Юрой Глазманом. Это был специализированный приятель – именно по возвращению из школы (он жил в нашем конце Погодинки, по другую ей сторону). Забавы мы придумывали простые, но нам нравилось. Например, заучивали телефоны друг друга. Распевали, как песню, дедушкин номер:

– Гэ пять, двадцать пять, семьдесят девять!..

Так тогда выглядели телефонные номера: Г-5—25—79. Буквы были написаны на телефонном диске (до кнопочных аппаратов было ещё далеко, не говоря про мобильники).

Его телефон у меня тоже сохранился (не в памяти, я вовремя его записал). Как-то, лет в двадцать пять, я решил позвонить по этому телефону, сделав необходимую поправку на общую модификацию номеров. Соединилось. Спросил Юру. Позвали! Подошёл кто-то басыстый (а мой приятель был маленьким, юрким и писклявым, но это ведь тогда). Он ли, выросший, подошёл к телефону, или другой Юра, оказавшийся там по совпадению, не знаю. Мои попытки напомнить про одноклассничество были напрасными. Он меня не признал.

Но вернусь к тем, детским временам. Иногда в нашем распоряжении оказывались ненужные чековые ленты. Мы кидали их, как серпантин, а потом играли с возникшими бумажными змеюками.

Всё это было, конечно, не на улице, а во дворах. Поэтому путь из школы часто оказывался длиннее и дольше, чем путь туда.

Пророчество об университете

В 1953 году было закончено строительство главного корпуса МГУ на Ленинских горах (теперь снова Воробьёвых). Об этом писали все газеты, печатали фотографии университета. Только много позже мы узнали, что строили его силами заключённых, а тогда это представлялось как одно из безупречных достижений «страны победившего социализма».

Мама показала мне фотографию главного здания МГУ в «Вечерней Москве», одной из газет, которые дедушка постоянно выписывал.

– Вот здесь, – сказала она, – ты, вполне возможно, будешь учиться.

Это был тот год, когда я пошёл в первый класс. Университет был пока вне сферы моих интересов, но фотографию я запомнил. На средних этажах этого главного корпуса, где на здании видна бордовая каёмочка, расположился механико-математический факультет. Пять лет я учился там математике. И ещё год французскому. Исполнил ли я пророчество? Или оно само сбылось? Вопрос задачи, у которой нет математического решения.

Интересно, что мама предрекла мне и работу с вычислительными машинами. Это было несколько лет спустя, когда я был в шестом или седьмом классе. Мы оба прочли статью об этих таинственных малоизвестных устройствах и о людях, которые ими управляют. Слов «компьютер» и «программист» тогда в русском языке просто не было. Были ЭВМ (электронные вычислительные машины) или ещё солиднее – ЭВЦМ (загадочное добавление: цифровая).

Обсуждая со мной эту полуфантастику, мама неожиданно отнеслась к ней совершенно прагматически и заметила:

– Гляди, какое интересное занятие. Может быть, и ты на этих ЭВМ когда-нибудь будешь работать...

Не то чтобы это была одна из очередных гипотез. Других предположений о моём обучении и профессиональной ориентации она никогда не выдвигала. Материнская интуиция – странная штука.

Вот литературного будущего она мне никогда не прочила. Более того, даже когда я начал писать, воспринимала всё, что я ей давал читать, довольно критично.

Родительское детство

Интересно сопоставить своё детство с отцовским или материнским.

У отца детство прошло в Усть-Каменогорске, ещё до революции, он родился в 1910 году. Много братьев и сестёр. Бедность, босоногая свобода. Мать водила его к баптистам. Отец был мастеровитым и читающим. В детстве Гане пришлось насмотреться много всяких несправедливостей и жестокостей, и симпатий к царизму у него не было.

У мамы детство было благополучно-семейное, и в то же время общественно-организованное. Под крылом отца – уважаемого врача – и заботливой матери (плюс была ещё бабушка, плюс домработница) она росла, много читая, была успешной ученицей и активисткой. Родилась Муся в 1920 году, и детство пришлось на период становления советской власти, которая представлялась единственно справедливой.

А каким было детство у моих детей? Я могу рассказать о нём разнообразные внешние подробности, как пробовал это сделать в книге «Загляни в детство»⁸⁴, но только каждый из них сам может описать запомнившиеся переживания, без которых вряд ли можно понять подлинную суть детства каждого из них.

В этом чувствуется какой-то парадокс. Я же был тогда взрослым, сознательным и наблюдательным. Мне ли не знать о детстве своего ребёнка? Но изнутри и снаружи впечатления детства выглядят совсем по-разному.

Нет, мы не хозяева детства своих выросших детей. Пусть они рассказывают о нём сами. Мне бы со своим разобраться. О нём, о своём детстве, я и рассказываю тем, кому будет интересно. Может быть, среди них окажется и кто-то из моих детей.

Первая влюблённость

Случилась моя первая влюблённость, скорее всего, в четвёртом классе. Это сейчас я знаю слово «влюблённость» и понимаю, насколько она отличается от любви. Тогда мне было понятно другое: это то, что описывается в книгах (начитанности уже хватало), а значит – любовь.

Не было у меня никаких особых отношений с Олей Сидоровой – так звали девочку, которая вдруг стала для меня несомненно выделяться из всех остальных. Не запомнились какие бы то ни было свойства, выделяющие её из остальных. Я имел дело лишь с чисто внутренним переживанием того факта, что она стала для меня кем-то особенным. Но то, что она не знает об этом переживании, казалось мне чем-то неправильным. Одно время меня преследовала мысль подсунуть ей записку: «Я тебя люблю», – но я этого так и не сделал, поскольку совершенно не знал, что написать в дополнение и как быть дальше. Мне от неё ничего не было нужно.

Вершиной моей любви было соседство с Олей в троллейбусе, когда наш класс ехал куда-то на экскурсию. Нас трясло, все были спрессованы, как сельди в бочке (стоячие сельди), и я вдруг обнаружил, что прижат к её спине в сером пальтишке. Поскольку никто этого заметить не мог, я чуть повернул голову и, при очередном толчке троллейбуса, прикоснулся к её пальто губами (из чего делаю вывод, что она была повыше меня).

Больше не помню совершенно ничего, что относилось бы к этой истории любви. Разве что выделил карандашиком свою пассиву на общеклассном снимке. Думаю, что переживание моё как-то незаметно испарилось. Тем более что в пятом классе я учился уже в другой школе (почему мне и кажется, что это было в четвертом классе, а не раньше).

Блики Луча

Сейчас он для меня особенно важен как Луч встречающий. Но тогда, более полувека назад, он присутствовал в моей жизни как Луч направляющий, только я об этом не догадывался. Или *почти* не догадывался. Может быть, уже проникали в душу какие-то его блики?..

Например, аппетит к чтению. Книг у нас в комнате было много. Отец смастерил длинную полку, которая шла поверх книжных шкафов, да и сами шкафы были забиты. Чтение было неотъемлемой частью жизни. Книги питали меня и побуждали думать. Читал я всё: и детское, и взрослое.

Рано научился печатать на пишущей машинке, хотя было ещё далеко до того, чтобы *писать* на ней.

Естественной была и педагогическая среда. В детских домах я её наблюдал, не понимая, но чувствуя её силовое поле. Братья были младше, и в какой-то степени мне приходилось осва-

⁸⁴ Неопубликованная книга. Некоторые её фрагменты вошли в приложение к книге «Педагогика первого года» (М., 1991).

ивать педагогические навыки в отношениях с ними. Лёня был ближе по возрасту, но в детстве пять лет – это много. С Максимкой разница была ещё значительнее, да и отца вскоре не стало рядом, так что я чувствовал почти отеческую ответственность за него.

Вспыхивали и искорки сочинительства – как угли в печке, перед которой мы сидели с отцом, рассказывая друг другу про Огенького человечка.

Но все эти приметы не были сколь-нибудь значительными для меня, на мысли о призвании никак не наталкивали. Может быть, и не обязательно ощущать призвание в детстве, или даже в отрочестве?

И всё-таки сейчас, вспоминая, я с благодарностью вглядываюсь в эти отсветы Луча, тогда ещё не угаданного, рад возможности подумать о них, об их незаметных побуждениях. Есть в этом какое-то особое удовлетворение: знать о неслучайности жизненных линий.

Последняя встреча с домом

Когда мой дедушка, Лазарь Борисович, которому было уже изрядно за восемьдесят, лежал в больнице, где ему пытались облегчить его болезнь (вылечить её было невозможно) я навестил его там, а выйдя понял: совсем рядом Клиническая!

А когда оказался на Клинической, увидел, что наш бывший дом сносят. Я знал, что после того, как дом расселили, он стал административным зданием. Теперь же сносили совсем.

Понемногу смеркалось. Никого вокруг не было. Дом ещё стоял, хотя другая его половина, не наша, была уже в руинах. Как намагнетизированный, я двинулся к нему. И вошёл. Хотя над мраморной лестницей уже не было крыши, сама она была цела. Поднявшись, я скоро очутился в нашем коридоре, где когда-то стояла вешалка с пальто и шубами, отгораживающая мою раскладушку. Комнаты – те и не те. Пустые конторские помещения, да и только, хотя в «нашей» комнате по-прежнему одно окно, а в дедушкиной – два. Кухня стала такой же обычной комнатой.

Канцелярская дверь ведёт из бывшей кухни... куда? Раньше там слева жили соседи, а справа лестница вела на чердак. Открываю дверь. Слева такие же опустошённые конторские комнаты. Справа лестничка наверх, но не прежняя, конечно, а простенькая, пожарная, упирающаяся в крышку люка, белёную, как весь потолок. Попробовал поднять люк, он не заперт, можно залезть на чердак.

И вот я на чердаке. Часть крыши снята, и здесь светло. Те же балки, затянутые паутиной, тот же хлам... О, это, действительно, *тот же* хлам! Хлам моего детства.

Старые мамыны туфли и другая знакомая обувь: дырявые валенки, стоптанные тапки. Самодельная антенна ежиком от дедушкиного трофейного лампового радиоприёмника. Обломанная, без колёс, без копыт и хвоста лошадка из папье-маше, на которой катались мои братья. Пластмассовая уточка, плюшевая собачка, чёрная от пыли, как и всё остальное. Это же ещё *мамина* игрушка! Остатки «миледи» – изящной дамы на чайник, подаренной маме отцом (руки и лицо у неё были из воска, но она их давно утратила)...

Что я мог? Взять с собой уточку и собачку, чтобы дома отмыть их от пыли десятилетий. Да ещё сочинить длинный верлибр на обратном пути.

Это была пронзительная встреча. Подходил к концу жизненный путь деда, подошла к завершению биография дома, всё естественно и печально. Но это соединение времён совершало во мне какую-то важную работу. Ничто не исчезает в никуда. Тем более никто. На меня повеяло ветерком Вечности.

Детство золотое

«Золотое детство» – привычная метафора, которая стала таким же клише, как «горящие глаза» или «каменное сердце».

Но не зря ведь сказано: «Не сотвори себе кумира». Если золотой телец или золотое детство выступают в этом качестве, стоит усомниться, достойны ли они поклонения.

Разумеется, в этом эпитете есть что-то важное, иначе он не спаялся бы с детством в такой устойчивый образ. Но это самое золото, присутствующее в нашем детстве, бессмысленно представлять единым слитком (с тельца размером?). Мол, в детстве всё идеально и прекрасно. Нет, золотое детство – это не крупницы или самородки радостей и удовольствий (тогда было бы достаточно пересчитать порции мороженого или газировки, плюс ещё кое-что), а искры событий-знаков, событий-примет, которые теперь, из другого возраста, можно видеть вплетёнными в общий узор судьбы.

Детство – это ребус, который пытаешься отгадать с возрастом. Это эпоха непонимающего понимания, которому со временем начинает открываться смысл многих событий.

В детстве я не вёл дневник, так что многие подробности забылись, утратились. Но если бы и вёл, вряд ли записывал бы то, что представляется наиболее значительным сейчас. И в самом ли деле утрачены те подробности, которые забылись? Или они просто трудно различимы сквозь толщу лет? Просто вошли в характер, в душу, в ткань жизни.

Детство, наверное, и в самом деле – золотой прииск воспоминаний. Но каким бы удачливым золотоискателем не удалось мне стать, изготовлением идола заниматься не хочется. С тем, что здесь добыто, мне надо пройти ещё длинную дорогу, намеченную этой книгой.

Глава 3. Сороковая школа. Отрочество (1957—1961)

Условны все разделения на возраста. В предыдущей главе мне случилось залезть в период отрочества, здесь тоже не смогу отгородиться от детства и от юности.

Но, несмотря на эту условность, существуют, разумеется, традиционно воспринимаемые человеком возрастные этапы, которые хочется даже назвать эпохами – настолько своеобразно наполнение каждого из них, внутреннее и внешнее.

Отрочество – букет обоюдоострых иголок... Период примеривания, но примеривания наугад... Ранняя весна, в которой хватает и заморозков, и оттепелей... Карусель метаморфоз, от которых кружится голова...

Когда я вспоминаю этот возраст, он мне представляется погружённым в какой-то туман смутных восприятий. Туман, который в то же время был незримой поддержкой просыпающейся душе, ещё не ухватистой, не готовой как следует приняться за работу по саморазвитию, которая ждёт каждого из нас. Спросонок мне трудно было взяться за это сознательно, сориентироваться в себе самом. Действовали пока только какие-то инстинктивные импульсы, и общая туманность восприятия им вполне соответствовала.

Тёплый переулочок

Так называлось место, где находилась сороковая школа⁸⁵, в которую я перешёл после четвёртого класса. Переулочок и в самом деле был каким-то тёплым, уютным, своим. Теперь это улица Тимура Фрунзе.

Шёл я туда через Девичку (чаще по диагонали, но если опаздывал, то пересекал её напрямик, чтобы подъехать пару остановок на троллейбусе). Перейдя Большую Пироговскую, надо было с улицы Льва Толстого свернуть на улицу Россолимо. Тут меня встречал знакомый ржаной запах, чуть кисловатый, какой бывает, когда сушат чёрные сухари. Много позже я догадался, что его источает пивной завод⁸⁶. Тогда это лишь придавало уютное домашнее обаяние узкому Тёплому переулочку, на середине которого, напротив текстильной фабрики «Красная Роза», находилась школа. «Роза» писалось с большой буквы, потому что это имя революционерки Люксембург. Но тогда слово было для меня лишь названием цветка.

Работала фабрика и до революции, до того, как стала «Красной Розой». Другим краем она выходила прямо к усадьбе Льва Толстого. Лев Николаевич посвятил негодующие строки её эксплуататорской сущности. И пивному заводу от него досталось.

Сейчас, полвека спустя, этот район, прилегающий к Садовому кольцу, считается элитным, он ведь совсем рядом с центром. А в то время между Тёплым переулочком и Садовым кольцом теснились старые дома, населённые рабочим людом. Как мой дедушка-врач получил жильё на Клинической, так и здесь, неподалёку от фабрики, жили многие работники «Красной Розы». Жили стеснённо. Сплошные коммуналки, только обшарпаннее и многочисленнее, чем у нас.

Позже мне стало ясно, что Тёплый переулочок вёл к храму, а не только к метро «Парк культуры». Да, к церкви Николы в Хамовниках, которая в те времена была незаметна для обычного внерелигиозного школьника (хотя и не была закрыта). Более того, и во дворе «Красной Розы»,

⁸⁵ Школа №40: открыта в 1936 году. В 1967 году была объединена со школой №39 и переведена в другое здание.

⁸⁶ Пивной завод в Хамовниках был основан в 1863 году. На 2012 год он ещё действовал, хотя уже собирались на его месте строить элитное жильё.

напротив школьного двора, оказывается, стояла часовня, замаскированная до полной невидимости. Она проявилась лишь недавно.

Небольшой пыльный дворик – это было всё, что прилагалось к четырёхэтажному школьному зданию из красного кирпича. Дальше, за решёткой, начинались территории соседних домов, задворки Тёплого переулка. Но там я после уроков не играл. Спешил на свою Клиническую улицу.

Подростковое время

Переход в другую школу оказался для меня переходом в несколько другую жизнь. Много преподавателей вместо одной учительницы, кабинетная система (смена классов на перемене в соответствии с предметом), новые одноклассники, другой путь до школы и обратно, а главное – иной возраст. Возраст перехода от детства к отрочеству.

Подростком быть сложно. Им даже невозможно просто *быть*. Всё время *становишься* не таким, как вчера. То же происходит и в детстве, но там меньше рефлексии, больше поддержки со стороны взрослых. В подростковом возрасте эта поддержка уже раздражает, причём всё сильнее, поэтому всячески от неё уворачиваешься – и... остаёшься наедине с нарастающими изменениями. Как если бы начинающий альпинист одновременно с набором высоты и усложнением маршрута всё чаще избегал советов инструктора.

Для подростка это слишком естественно, чтобы пенять на него. Из теперешнего возраста я вижу, что главная задача взрослых по отношению к подростку – творческая изобретательность. С одной стороны, она нужна чтобы помочь ему (лучше незаметно) наполнить время интересными (для него) и развивающими занятиями, разнообразными событиями. С другой – снабдить его ориентирами (тоже требует искусства), которыми он мог бы пользоваться самостоятельно.

Взрослые слишком мало об этом заботятся. К счастью, подросток может обходиться и собственными силами, хотя не всегда качественно. Он *сам* стремится наполнить своё время тем, что ему интересно, *сам* ищет ориентиры.

Как и детство, отрочество моё можно считать относительно благополучным. Но во всяком благополучии есть свои проблемы. Родители, изобретательные педагоги, помогали мне (иногда в том смысле, что не мешали) с заполнением времени, хотя мне были знакомы и приступы беспредметной скуки. Такие, когда ничем не хочется заниматься, хотя вроде бы есть широкий набор интересных (вообще, но не в данный момент!) занятий. Впрочем, это уже относится к колебаниям эмоциональной сферы, к её приливам и отливам.

Ненавязчиво родители содействовали и поискам ориентиров (отец даже из лагеря ухитрялся быть ориентатором⁸⁷ – через письма и пр.). Правда, всё большее значение для меня приобретало чтение. Но домашние книги тоже ведь собирали родители. Есть за что быть им благодарным.

Но и судьбе я признателен за то, что к моим возрастным трудностям не присоединились внешние стрессы или трагедии – кроме заключения отца, к которому я постепенно привык как к данности. Не очень прочным я был, мог бы и сломаться.

⁸⁷ Ориентатор: человек, который содействует тебе в жизненном ориентировании.

Террор Саши Соловьёва

Не очень приятно вспоминать об этом, но – было. Вскоре после перехода в сороковую школу или год-другой спустя это было?.. С какого-то времени я обнаружил себя в некоторой вассальной зависимости, только весьма далёкой от традиций аристократии.

Саша Соловьёв был моим одноклассником. Не помню, как он начал ко мне приставать, но это быстро перешло в хронику. Соловьёв был пониже меня ростом, но плотный, мускулистый, а главное – откровенно хулиганистый. Вроде бы и остальные его побаивались, но приставал он именно ко мне. Мог, например, на перемене (при учителях он меня не задевал) надеть мне на шею ремень и так вести по коридору. Мог подойти в упор и тыкать кулаком в живот: не больно, но обидно и с намёком, что может быть и больно. Мог снять с меня очки (я со второго класса их носил, по близорукости) и играть ими, демонстрируя, что отдаст только тогда, когда ему будет угодно. Или когда я начну их выпрашивать.

Почему я не сопротивлялся, не отстаивал своё достоинство? Наверное, элементарно трусил. Видел, по разным его выходкам и стычкам с другими, что он парень драчливый. Драться я не умел, не любил, да и не пробовал, не было такой необходимости. Когда мысленно представлял себе, что дерусь, прежде всего беспокоился о том, что надо будет обязательно надеть перчатки (не боксёрские, любые). Сама мысль о том, что бью кого-то голой рукой по лицу, вызывала у меня отвращение.

Некоторое время я пытался его «заболтать». Объяснял, скажем, что если уж он считает меня своей колонией, как он однажды выразился, то должен, наоборот, охранять меня и защищать. Действовало, хотя и слабо.

В то же время я понимал, что надо это прекратить. Достаточно было лишь уверенно приказать себе самому. Выполняя такой внутренний приказ, я мог бы, наверное, и подраться. Подозреваю (и тогда подозревал), что до драки бы не дошло, хватило бы моей внутренней решимости. Но её-то мне и не хватало.

Тогда я решил отдать себе приказ отсроченным образом. Но сначала надо рассказать о шифре. То ли после «Золотого жука» Эдгара По, то ли после «Тайны пляшущих человечков» Конана Дойла, я придумал себе шифр. Довольно простой (позже я использовал его для некоторых записей в записной книжке, которые мне казались слишком интимными).

Вот этим шифром я написал записку самому себе. Что-то вроде «Разобраться с А.С. до такого-то числа». Времени отмерил достаточно, чтобы набраться решимости. Шифра мне показалось недостаточно. Я свернул записку в трубочку, положил в прозрачный флакон из-под лекарства, заткнул резиновой пробкой и залил воском для пушей сохранности.

Надо же так случиться, что вскоре после этого к нам домой нагрянули с обыском. Такое происходило несколько раз. Отец, находясь в заключении, ухитрялся писать и тайно пересылать на волю статьи, разоблачавшие хрущёвский режим. Какие-то из них перехватили (за что он позже получил второй срок), какие-то пытались найти у нас (впрочем, у него имелись другие каналы).

Ничего нужного для себя гэбэшники у нас не отыскали. Единственное, что привлекло их внимание, – моя запечатанная бутылочка с запиской.

– Чьё это? – спросил один из них у меня (видно, догадался о принадлежности).

– Моё, – чистосердечно признался я.

– Откройте, молодой человек, – распорядился гэбэшник.

Я распечатал и открыл бутылочку.

– Что это за текст? – заинтересовался он шифром.

Вздыхнув, я постарался объяснить ему, в чём дело.

Мгновенно потеряв всякий интерес к закодированному сообщению, гэбэшник махнул рукой и оставил нас с бутылочкой в покое. На этом обыск закончился.

Примечательно, что у истории моих взаимоотношений с Соловьёвым не было никакого драматургического завершения. Всё как-то само сошло на нет, выдохлось – ещё до намеченной мною даты. Может быть, моя решимость, созревая, проявилась в чём-то незаметном, но ощущаемом? Хотелось бы так думать. Или просто надоело Соловьёву ко мне приставать?

Пожалуй, я не раскаиваюсь, что вёл себя так недостойно. Да, терпел глупые унижения. Но неужели лучше было бы расквасить нос обидчику? Или настучать на него? Вряд ли.

Нет у меня сейчас и никакого желания в чём-то обвинить этого паренька – ну, хулиганистого, слегка ощутившего вкус доминирования над другими, прелесть некоего самодурства. Хотя, возможно, отсутствие моего опоры было для него развращающим фактором? Тогда уже мне надо просить за это прощения. Но у кого? У него? У судьбы?..

Мягкость и резкость

Довольно миролюбивый достался мне характер. Не отцовские это гены, материнские. Ни с кем особенно я не ссорился и врагов не припомню. Даже Саша Соловьёв был для меня не врагом, а просто некоторым досаждающим обстоятельством, из которого надо выпутаться. Но рядом с этой мягкостью уживался и какой-то отцовский взрывчатый ген.

Однажды я, когда учился в седьмом-восьмом классе, остался на перемене в классе, за партой (первая у окна, прямо зрительно встаёт воспоминание), что-то листал, чем-то занимался. И один из одноклассников (неразличимый памятью, но тогда ведь вполне конкретный, живой, не фантом какой-нибудь) стал меня о чём-то спрашивать, отрывать от размышлений, надоедать. На парте у меня лежал футляр от очков, куда я изредка их прятал. Металлический футляр, увесистый. Схватил я его и изо всей силы бросил в надоеду, с размаха. Очечник просвистел на миллиметр от его виска и с грохотом ударился в классную доску. Какое счастье, что я промахнулся! Ещё чуть-чуть – и страшно представить, что могло бы случиться.

Вот и думай после этого, мягок ты был или резок...

Любопытная игра у нас была в школе, психологически любопытная. Называлась она «Сыщик, ищи вора»⁸⁸. Несколько человек собирались в кружок, и каждый наугад вытаскивал одну из бумажек, свёрнутых трубочкой. На бумажках были обозначены роли в игре: сыщик, вор, свидетель, судья, палач. Никто другим свою роль не выдавал, кроме сыщика. Когда выяснялось, кто сыщик, остальные начинали приплясывать вокруг него, скандируя:

– Сыщик, ищи вора! Сыщик, ищи вора!..

Сыщик должен был с помощью каких-то признаков или вопросов (не помню всех деталей игры) угадать, кто вор. Если ему это не удавалось, жребии раздавали снова. Если же вор был разоблачён, его «судили». То есть судья приговаривал проигравшего к стольким-то щелчкам, к стольким-то щипкам и тому подобным экзекуциям, которые приводил в исполнение палач.

Думаю, что главным зачинщиком этой глуповатой игры с привкусом садизма был Саша Соловьёв. Меня, надеюсь, он вовлекал в неё принудительно. Не помню, как было на самом деле. А если и Соловьёв тут не при чём, если я участвовал в ней по доброй воле?..

⁸⁸ Эта игра была, видимо, предшественницей современной игры «Мафия».

Иногда кажется, что во мне таился довольно тяжёлый невротик, изредка вырываясь наружу. Не в каждом ли подростке он прячется? Кроме тех случаев, когда не прячется.

Одноклассники из пятого «Б» (шестого, седьмого, восьмого)

К букве «Б» я привык ещё в тридцать пятой школе, здесь эта буква у меня сохранилась. Хотя теперь я был уже подростком и учился здесь тоже четыре года, но не так много кого помню из одноклассников, немногим больше, чем в начальной школе. Наверное, интереса к людям ещё не хватало.

Лучше всего помню двух своих приятелей, двух Володь.

Володя Пушкин был крупный розовощёкий парень, заливающийся румянцем при малейшем смущении или волнении. Громкоголосый, немного увалень, простодушный и открытый. Мы с ним оба собирали марки (на мальчишеско-дилетантском уровне). Однажды он потерял всю или почти всю свою марочную коллекцию. Я это воспринял как ужасную трагедию и набрал ему в подарок целый кляссер марок, чтобы он мог начать коллекционировать снова. Не такая уж жертва с моей стороны (марки в кляссер я брал не из самых лучших, в основном из дублей), но именно сам порыв остался у меня в памяти.

Почему? Неужели я так гордился своей «безудержной щедростью» и «заботой о друге»? Возможно и так. Это чем-то напоминало мне книжные романтические отношения. Сейчас кажется их прагматичной имитацией.

Володя Орлов представлял собой совершенно другой тип. Худощавый, немного нервный, быстрый в движениях, он иронично и легко относился к окружению. Учился тоже легко, лучше первого Володи, которому учёба давалась со скрипом.

Орлов узнал меня три года спустя после нашего восьмого класса, когда мы гуляли на Красной площади – ночью, после выпускного вечера (он у всех состоялся одновременно). Мы несколько минут пообщались; кажется, даже обменялись телефонами, но попыток сдружиться заново никто из нас не предпринял.

Запомнилась ещё Альбина Балакина – энергичная полноватая девочка, она была у нас в классе председателем отряда. Типичная отличница, правильная и честолюбивая, увлечённая учёбой и пионерской деятельностью.

Более смутно помнится девочка по фамилии Лукина – крупная, подвижная. Вроде бы она нравилась мне больше других. Но мои переживания не заходили столь далеко, как по отношению к Оле Сидоровой в начальной школе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.